



ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

АНТОН
ЧЕХОВ

Большое собрание
юмористических рассказов
В ОДНОМ ТОМЕ



2022
МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Ч-56

В книге сохранены авторские знаки препинания

Художественное оформление *Натальи Ярусовой*

Серия «Полное собрание сочинений»
В оформлении переплета использованы фрагменты работ
художников *Роберта Уокера Макбета* и *Альфреда Стевенса*

Иллюстрация в марке серии:
© Ilusletra CR/ Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Серия «Подарочные издания. Коллекция классики»
В оформлении переплета использована работа
художника *Николая Чехова*

Чехов, Антон Павлович.

Ч-56 Большое собрание юмористических рассказов в одном томе /
Антон Чехов. — Москва : Эксмо, 2022. — 832 с. : ил.

ISBN 978-5-04-170550-3 (Полное собрание сочинений)

ISBN 978-5-04-094783-6 (Подарочные издания. Коллекция классики)

Знаменитый Антон Павлович Чехов (1860—1904) первые шаги в русской литературе делал под псевдонимами Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Брат моего брата как автор юмористических рассказов и фельетонов, которые издавали в юмористических московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и в петербургских юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза», а впоследствии вошли в первые книги начинающего автора. Именно первые сборники и книги А. Чехова — «Шалость», «Сказки Мельпомены», «Пестрые рассказы», а также рассказы, печатавшиеся в журналах «Осколки», «Зеркало» и др., включены в эту книгу, раскрывающую юмористический талант признанного в мире писателя. Книга представляет наиболее полное собрание юмористических рассказов А.П. Чехова.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-170550-3
ISBN 978-5-04-094783-6

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Шалость





ПИСЬМО К УЧЕНОМУ СОСЕДУ

Село Блины-Съедены

Дорогой Соседушка
Максим (забыл как по батюшке, извините великодушно!) Извините и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих иероглифов познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизация и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимум понтифекс отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и

восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэрогитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металлоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на шот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцую по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и умеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Майора). Абат значит католический поп. Извените меня неучка за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую посвоему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими до-

мами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недостижимости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извините меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головушку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестизажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя

и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиня морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насщот этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит позже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извените меня негодника за беспокойство.

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед

Василий Семи-Булатов.

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ, НИ ОДНОГО НЕ ПОЙМАЕШЬ

Пробило 12 часов дня, и майор Щелколовов, обладатель тысячи десятин земли и молодой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга, майора Щелколова, бараном и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его, Щелколова, тупоумие, мужицкие манеры и склонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа, лицо горело и было краснее вареного рака; кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под Карсом не видал и не слышал. Выглянув из-

под одеяла на свет божий и выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате.

— Эй, болваны! — крикнул он.

Затрепала дверь, и пред лицо майора предстал его камерднер, куафер и полойка Пантелей, в одежонке с барского плеча и с щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замгил глазами.

— Послушай, Пантелей, — начал майор, — я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с человеком, откровенно. Стой ровней! Выпусти из кулака мух! Вот так! Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет?

— Буду-с.

— Не смотри на меня с таким удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне прямо, без запинки! Колотишь ли ты свою жену или нет?

Пантелей закрыл рот рукою и преглуно ухмыльнулся.

— Кажинный вторник, ваше в<ысокоблагороди>е! — пробормотал он и захихикал.

— Очень хорошо. Чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя! Закрой рот! Не чешься при мне: я этого не люблю. (Майор подумал.) Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?

— Не одни, ваше в-е!

— Пример!

— В городе есть судья Петр Иванович... Извольте знать? Я у них годов десять тому назад в дворниках состоял. Славный барин, в одно слово, то есть... а как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Штоб мне провалиться на ентом самом месте, коли не верите! Да и меня за компанию ни с того ни с сего в бок, бывало, саданут. Бьют барыню да и говорят: «Ты, говорят, дура, меня не любишь, так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жисти предел положить...»

— Ну, а она что?

— Простите, говорит.

— Ну? Ей-богу? Да это отлично!

И майор от удовольствия потер себе руки.

— Истинная правда-с, ваше в-е! Да как и не бить, ваше в-е? Вот, например, моя... Как не побить! Гармонийку ногой раздавила да барские пирожки поела... Нешто это возможно? Гм!..

— Да ты, болван, не рассуждай! Чего рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать? Не берись не за свое дело! Что барыня делает?

— Спят.

— Ну, что будет, то будет! Поди, скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне... Постой!.. Как на твой взгляд? Я похож на мужика?

— Зачем вам походить, ваше в-е? Откудава это видно, штоб барин на мужика похож был? И вовсе нет!

Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел, а майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться.

— Душенька! — сказал одевшийся майор самым что ни на есть разъехидственным тоном вошедшей к нему хорошенькой двадцатилетней майорше, — не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени?

— С удовольствием, мой друг! — ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора.

— Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься... Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию?

— А не жарко ли будет? Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. Не взять ли нам с собой закусок? Я ужасно есть хочу...

— Я уже взял закуску, — ответил майор и ощутил в своем кармане плетку.

Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. «Какова? Какова? Какова?» — бормотал майор, свирено поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. «Стой!» — забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки.

— Что с тобой, Аполлоша? — спросила майорша, с удивлением глядя на мужа.

— Так я, — забормотал он, — баааран? Так я... я... кто я? Так я тупоумен? Так ты меня не любила и любить не будешь? Так ты... я...

Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью и в лодке... *o tempora, o mores!*¹ поднялась страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением... Не успел майор Щелколовов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и...

¹ О времена, о нравы! (*лат.*)

В это время на берегу озера прогуливался бывший ключник майора, а ныне волостной писарь Иван Павлович и, в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздирающей душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите!» — кричали майор и майорша. Писарь, не долго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера. Плавал он лучше, чем писал и разбирал писанное, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал втупик.

«Кого спасать? — подумал он. — Вот черти!» Двоих спасти ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выражавшую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майоршу.

— Кто-нибудь один! — сказал он. — Обоих вас куда мне взять? Что я, кашалот, что ли?

— Ваня, голубчик, спаси меня, — пропищала дрожащая майорша, держась за фалду майора, — меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж! Клянусь всем для меня святым! Ай, ай, я утопаю!

— Иван! Иван Павлович! По-рыцарски!.. того! — забасил, захлебываясь, майор. — Спаси, братец! Рубль на водку! Будь отцом-благодетелем, не дай погибнуть во цвете лет... Озолочу с ног до головы... Да ну же, спасай! Какой же ты, право... Женюсь на твоей сестре Марье... Ей-богу, женюсь! Она у тебя красавица. Майоршу не спасай, черт с ней! Не спасешь меня — убью, жить не позволю!

У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными — одно другого лучше. Что выбирать? А время не терпит! «Спасу-ка обоих! — порешил он. — С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи благослови!» Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки за галстух майора и поплыл, кряхтя, к берегу. «Ногами болтайте!» — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Барыня — жена, майор — зять... Шик! Гуляй, Ваня! Вот когда пирожных наемся да дорогие цыгары курить будем! Слава тебе, господи!» Трудно было Ивану Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности поддерживала его. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость. Но, увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он... вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на де-

вок, которые, вылезши из воды, густою толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря.

На другой день Иван Павлович, по проискам майора, был удален из волостного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марью с приказом отправляться ей «к своему милому барину».

— О, люди, люди! — вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда, — что же благодарностию вы именуете?

ПАПАША

Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе ее с колен папаша спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру; мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папашаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа.

— Пампушка, — сказала она, садясь на папашины колени, — я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя.

Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы.

— Что тебе? — спросил он.

— Вот что, папочка... Что нам делать с нашим сыном?

— А что такое?

— А ты не знаешь? Боже мой! Как вы все, отцы, беспечны! Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом наконец, если не хочешь... не можешь быть мужем!

— Опять свое! Слышал тысячу раз уж!

Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папашаши.

— Все вы, мужчины, таковы, не любите слушать правды.

— Ты про правду пришла рассказывать или про сына?

— Ну, ну, не буду... Пампуша, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес.

— Ну, так что ж?

— Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену! Он не перейдет в четвертый класс!

— Пускай не переходит. Невелика беда. Лишь бы учился да дома не баловался.

— Ведь ему, папочка, пятнадцать лет! Можно ли в таких летах быть в третьем классе? Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку... Ну, на что это похоже?

— Выпороть нужно, вот на что похоже.

Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки.

— Нет, пампушка, о наказаниях мне не говори... Сын наш не виноват... Тут интрига... Сын наш, нечего скромничать, так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он все прекрасно знает, в этом я уверена!

— Шарлатан он, вот что-с! Ежели б поменьше баловался да побольше учился... Сядь-ка, мать моя, на стул... Не думаю, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях.

Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу.

— Боже, какое бесчувствие! — прошептала она, усевшись и закрыв глаза. — Нет, ты не любишь сына! Наш сын так хорош, так умен, так красив... Интрига, интрига! Нет, он не должен оставаться на второй год, я этого не допущу!

— Допустишь, коли негодяй скверно учится... Эх, вы, матери!.. Ну, иди с богом, а я тут кое-чем должен... позаняться...

Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искося, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру.

— Папочка, я не уйду... я не уйду! Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи... Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку... Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты принудь учителя. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, пампуша! Представь, Софья Николаевна нашла, что сын наш похож на Париса!

— Для меня это очень лестно, но не пойду! Некогда мне шлаться.

— Нет, пойдешь, папочка!

— Не пойду... Слово твердо... Ну, уходи с богом, душенька... Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем...

— Пойдешь!

Мамаша поднялась и возвысила голос.

— Не пойду!

— Пойдешь!! — крикнула мамаша. — А если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то...

Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру... Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу ни к городу запел какую-то песню и сбросил с себя сюртук... Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насунился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получают одними только

гимназистками, богачами да подлипалами. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводит у себя по лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился «пожалеть единственного сына».

По обыкновению большинства папашей, он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедши без доклада! Он слышал, как учитель сказал своей жене: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!» И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала: «Прости меня! Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю!» Папаша нашел, что учительша очень хороша собой и что, будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна.

— Здравствуйте! — сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту растерялся, а учительша вспыхнула и с быстротою молнии шмыгнула в соседнюю комнату.

— Извините, — начал папаша с улыбочкой, — я, может быть, того... вас в некотором роде обеспокоил... Очень хорошо понимаю... Здоровы-с? Честь имею рекомендоваться... Не из безызвестных, как видите... Тоже служака... Ха-ха-ха! Да вы не беспокойтесь!

Г-н учитель чуточку, приличия ради, улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел.

— Я, — продолжал он, показывая г. учителю свои золотые часы, — пришел с вами поговорить-с... Мм-да... Вы, конечно, меня извините... Я по-ученому выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, все спроста... Ха-ха-ха! Вы в университете обучались?

— Да, в университете.

— Так-ссс!.. Н-ну, да... А сегодня тепло-с... Вы, Иван Федорыч, моему сынишке двоек там наставили... Мм... да... Но это ничего, знаете... Кто чего достоин... Ему же дань — дань, ему же урок — урок... Хе-хе-хе!.. Но, знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает?

— Как вам сказать? Не то чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается. Да, он плохо знает.

— Почему же он плохо знает?

Учитель сделал большие глаза.

— Как почему? — сказал он. — Потому, что плохо знает и не занимается.

— Помилуйте, Иван Федорыч! Сын мой превосходно занимается! Я сам с ним занимаюсь... Он ночи сидит... Он все отлично знает... Ну, а что пошаливает... Ну, да ведь это молодость... Кто из нас не был молод? Я вас не обеспокоил?

— Помилуйте, что вы?.. Очень вам благодарен даже... Вы, отцы,

такие редкие гости у нас, педагогов... Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете; а главное во всем — это доверие.

— Разумеется... Главное — не вмешиваемся... Значит, сын мой не перейдет в IV класс?

— Да. У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка?

— Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики?.. Хххе!.. Исправите?

— Не могу-с! (Учитель улыбнулся.) Не могу-с!.. Я желал, чтобы сын ваш перешел, я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзости... Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности.

— М-молод... Что поделаешь?! Да вы уж переправьте на троечку!

— Не могу!

— Да ну, пустяки!.. Что вы мне рассказываете? Как будто бы я не знаю, что можно, чего нельзя. Можно, Иван Федорыч!

— Не могу! Что скажут другие двоечники? Несправедливо, как ни поверните дело. Ей-ей, не могу!

Папаша мигнул одним глазом.

— Можете, Иван Федорыч! Иван Федорыч! Не будем долго рассказывать! Не таково дело, чтобы о нем три часа балясы точить... Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому, считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе-хе-хе! Говорили бы прямо, Иван Федорыч, без экивок! Вы ведь с намерением поставили двойку... Где же тут справедливость?

Учитель сделал большие глаза и... только; а почему он не обиделся — это останется для меня навсегда тайною учительского сердца.

— С намерением, — продолжал папаша. — Вы гостя ожидали-с. Ха-хе-ха-хе!.. Что ж? Извольте-с!.. Я согласен... Ему же дань — дань... Понимаю службу, как видите... Как ни прогрессируйте там, а... все-таки, знаете... ммда... старые обычаи лучше всего, полезнее... Чем богат, тем и рад.

Папаша с сопеньем вытащил из кармана бумажник, и двадцатипятирублевка потянулась к кулаку учителя.

— Извольте-с!

Учитель покраснел, съехался и... только. Почему он не указал папаше на дверь — для меня останется навсегда тайной учительского сердца...

— Вы, — продолжал папаша, — не конфузьтесь... Ведь я понимаю... Кто говорит, что не берет, — тот берет... Кто теперь не берет? Нельзя, батенька, не брать... Не привыкли еще, значит? Пожалуйте-с!

— Нет, ради бога...

— Мало? Ну, больше дать не могу... Не возьмете?

— Помилуйте!..

— Как прикажете... Ну, а уж двоечку исправьте!.. Не так я прошу, как мать... Плачет, знаете ли... Сердцебиение там и прочее...

— Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу.

— Если сын не перейдет в IV класс, то... что же будет?.. Ммда... Нет, уж вы переведите его!

— Рад бы, но не могу... Прикажете папиросу?

— Гранд мерси... Перевести бы не мешало... А в каком чине состоите?

— Титулярный... Впрочем, по должности VIII класса. Кгм!..

— Так-ссс... Ну, да мы с вами поладим... Единным почерком пера, а? идет? Хе-хе!..

— Не могу-с, хоть убейте, не могу!

Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу-с». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать *его* по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило.

— Ваня, тебе пора ехать! — крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и своею широкою фигуркой загородил г. учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь.

— Вот что, — сказал он папаше. — Я тогда только исправляю вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам.

— Честное слово?

— Да, я исправляю, если они исправят.

— Дело! Руку вашу! Вы не человек, а — шик! Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка! Бутылка шампанского за мной. Ну, а когда их можно застать у себя?

— Хоть сейчас.

— Ну, а мы, разумеется, будем знакомы? Заедете когда-нибудь на часок попросту?

— С удовольствием. Будьте здоровы!

— О ревуар!¹ Хе-хе-хе-хмы!.. Ох, молодой человек, молодой человек!.. Прощайте!.. Вашим господам товарищам, разумеется, от вас поклон? Передам. Вашей супруге от меня почтительное резюме... Заходите же!

Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился.

¹ До свидания! (от *франц.* — *Ou revoir.*)

«Славный малый, — подумал г. учитель, глядя вслед уходящему папаше. — Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно... Люблю таких людей».

В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша (а уж после нее сидела горничная). Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло.

ТЫСЯЧА ОДНА СТРАСТЬ, ИЛИ СТРАШНАЯ НОЧЬ

(Роман в одной части с эпилогом)

Посвящая Виктору Гюго

На башне Св. Ста сорока шести мучеников пробил полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь — это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег — эти мокрые братья — страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник прелестной, как миганье голубых глаз, быстрой, как мысль, молнии, ужасающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством. Огни Св. Эльма с треском пролетали над нашими головами. Я взглянул наверх. Я затрепетал. Кто не трепещет пред величием природы? По небу пролетело несколько блестящих метеоров. Я начал считать их и насчитал 28. Я указал на них Теодору.

— Нехорошее предзнаменование! — пробормотал он, бледный, как изваяние из каррарского мрамора.

Ветер стонал, выл, рыдал... Стон ветра — стон совести, утонувшей в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и зажгло восьмизэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из него. Мы прошли мимо. До горевшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтораста домов? Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол. Была борьба стихий. Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающею гармониею стихии. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек?

Пугливая, но дерзкая мечта!!!

Мы крикнули кошэ. Мы сели в карету и помчались. Кошэ — брат ветра. Мы мчались, как смелая мысль мчится в таинственных

извилинах мозга. Я всунул в руку кошэ кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног.

— Антонио, куда ты меня везешь? — простонал Теодор. — Ты смотришь злым гением... В твоих черных глазах светится ад... Я начинаю бояться...

Жалкий трус!! Я промолчал. Он любил *ее*. Она любила страстно его... Я должен был убить его, потому что любил больше жизни *ее*. Я любил *ее* и ненавидел его. Он должен был умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием. Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение: они — духовные вандалы.

— Стой! — сказал я кошэ, когда карета подкатила к цели.

Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна — беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть, бездна без дна, как бочка преступных дочерей Даная. Мы стояли у края жерла потухшего вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана — пасть земли.

— Проклятие!!! — закричал он в ответ на мое проклятие.

Сильный муж, ниспровергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины, — величественная, грандиозная и поучительная картина! Недоставало только лавы!

Кошэ. Кошэ — статуя, поставленная роком невежеству. Прочь рутин! Кошэ последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна только любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга — результат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы и освобождение от оков.

Я зашел в гостиницу «Фиолетового гиппопотама» и выпил пять стаканов доброго вина.

Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до ее дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюбленного — четыре девятнадцатых столетия! Наконец она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на нее. Она удловила мой взгляд. Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка.

— Анета! — крикнула *она*. — Что это Теодор нейдет? Тоска

грызет мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О, Анета! Сходи за ним. Он, наверно, кутит теперь вместе с безбожным, ужасным Антонио!.. Боже, кого я вижу?! Антонио!

Я вошел к ней. Она побледнела.

— Подите прочь! — закричала она, и ужас исказил ее благородные, прекрасные черты.

Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела все: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний... Поза моя — было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины — крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Оба мы крикнули. Кости ее затрещали. Гальванический ток пробежал по нашим телам. Горячий поцелуй...

Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным!» — сказал я. Она полюбила во мне ангела и заплакала. Я тоже заплакал. Что это были за слезы!!! Через месяц в церкви Св. Тита и Гортензии происходило торжественное венчание. Я венчался с *ней*. Она венчалась со мной. Бедные нас благословляли! Она упростила меня простить врагов моих, которых я ранее убил. Я простил. С молодой женой я уехал в Америку. Молодая любящая жена была ангелом в девственных лесах Америки, ангелом, пред которым склонялись львы и тигры. Я был молодым тигром. Через три года после нашей свадьбы старый Сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын... и сам я от радости повесился... Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папаша его боится женитьбы, как огня. Мальчишка мой не лжет. Он младенец. Ему верьте. Детский возраст — святой возраст. Ничего этого никогда не было... Спокойной ночи!

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

В четверг на прошлой неделе девица Подзатылкина в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было две бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки; барышни выпили бутылку лафита. Папаши и мамы жениха

и невесты плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно; гимназист восьмого класса произнес тост со словами: «O tempora, o mores!»¹ и «Salvete, boni futuri conjuges!»² — произнес с шиком; рыжий Ванька Смысломалов, в ожидании вынужения жребия ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в «самый раз» ударился в страшный трагизм, взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул: «Черт возьми, я любил и люблю ее!» — чем и доставил невыразимое удовольствие девицам.

Девушка Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем — ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашиный, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепьяне умеет, но без нот; мамаше на кухне помогает, без корсета не ходит, постного кушать не может, в уразумении буквы «G» видит начало и конец всех премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин и имя «Роланд».

Господин Назарьев — мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалованье получает тщедашно, едва на табак хватяющее; вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит — брызжет. Франтит, на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей: «Как вы наивны! Вы бы читали литературу!» Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя, и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением отрицает чертей.

Вот каковы девушка Подзатылкина и господин Назарьев!

На другой день после сговора, утром, девушка Подзатылкина, восстав от сна, была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую нотацию:

— С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче и в барежевом походить. Голова-то как болит, ужас! Вчера лысая образина, твой отец то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие! Подносит это мне что-то в рюмке... «Выпей», говорит. Думала, что в рюмке вино, — ну, и выпила, а в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил, пьяная образина! Срамить только, слюнявый, умеет! Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь! Всякий

¹ О времена, о нравы! (лат.)

² Да здравствуют будущие добрые супруги! (лат.)

и подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И вовсе ты не по любви идешь за своего, а так, за чином его погналась! Что, разве неправда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осади... Что-о-о-о? И не думай!.. Через месяц же драться будете: и он таковский, и ты таковская. Замужество только девицам одним нравится, а в нем ничего нет хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь — узнаешь. Не вертись так, у меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки, с ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак, хоть и высоко голову держит. Ты его не больно-то слушайся, не потакай ему во всем и не очень-то уважай: не за что. Обо всем мать спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне. Сама без матери ничего не делай, боже тебя сохрани! Муж ничего доброго не посоветует, добру не научит, а все норовит в свою пользу. Ты это знай! Отца также не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить, а то ты, пожалуй, чего доброго, сдуру... и ляпнешь. Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням, а на что он вам сдался? Водки будет просить да мужнин табак курить. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него, негодника, доброе, ну, а душа зато страсть какая ехидная! Занимать денег станет — не давайте, потому что он жулик, хоть он и тютюлярный советник. Вон он кричит, тебя зовет! Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас пристанет, изверг рода христианского, горой его положи! Ступай, покедова у меня сердце на месте!.. Враги вы мои! Умру, так попомните слова мои! Мучители!

Девушка Подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати и посыпал свою подушку персидским порошком.

— Дочь моя! — сказал ей папаша. — Я очень рад, что ты мерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарев. Очень рад и вполне одобряю сей брак. Выходи, дочь моя, и не страшись! Брак это такой торжественный факт, что... ну, да что там говорить? Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит! Я... я... плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Выслушай же, дочь моя, совет мой! Не забывай родителей своих! Муж для тебя не будет лучше родителей, право, не будет! Мужу нравится одна только твоя материальная красота, а нам ты вся нравишься. За что тебя будет любить муж твой? За характер? За доброту? За эмблему чувств? Нет-с! Он будет любить тебя за приданое твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно тысячу рублей! Ты это понять должна! Госпо-

дин Назарьев весьма хороший господин, но ты его не уважай паче отца. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, когда он... Нет, умолчу лучше, дочь моя! Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично-вольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но... шут с ней! Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой, бытия твоего виновник. В дом свой ее не бери. Мужья тещей не обожают. Я сам не любил своей тещи, так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофей жженой пробочки, отчего выходили весьма презентабельные проферансы. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Разве не помнишь сего факта? Впрочем, тебя еще тогда на свете не существовало. Главное во всем и везде отец. Это ты знай и одного его только и слушай. Потом, дочь моя... Европейская цивилизация породила в женском словии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада! Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет! Не то! Совсем наоборот! Я ошибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше. Это я вчера читал в одной журналистике. Какой-то Мальтус сочинил. Так-то... Кто-то поддыхал... Ба! Да это жених твой! С шиком, канашка, шельмец этакой! Ай да мужчина! Настоящий Вальтер Скотт! Пойди, душенька, прими его, а я пока оденусь.

Прикатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала: — Прошу садиться без церемоний!

Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты.

— Как вы поживаете? — начал он с обычною развязностью. — Как вам спалось? А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зола читал да о вас мечтал. Вы читали Зола? Неужели нет? Ай-я-яй! Да это преступление! Мне один чиновник дал. Шикарно пишет! Я вам прочитать дам. Ах! Когда бы вы могли понять! Я такие чувствую чувства, каких вы никогда не чувствовали! Позвольте вас чмокнуть!

Господин Назарьев привстал и поцеловал нижнюю губу девицы Подзатылкиной.

— А где ваши? — продолжал он еще развязнее. — Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Вы заметьте... Ваш папаша говорили мне, что оне надворный советник, а оказывается теперь, что оне всего только титулярный. Гм!.. Разве так можно? Потом-с... Оне обещали дать за вами полторы тысячи, а маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство? Черкесы кроважадный народ, да и то так не делают. Я не позволю себя надувать! Все делай, но самолюбия и самозабвения моих не трогай! Это не гуманно! Это не рационально! Я честный человек, а пото-

му не люблю нечестных! У меня все можно, но не хитри, не язви, а делай так, как совесть у человека! Так-то! У них и лица какие-то невежественные! Что это за лица? Это не лица! Вы меня извините, но рождественных чувств я к ним не чувствую. Вот как повенчаемся, так мы их приструним. Нахальства и варварства не люблю! Я хоть и не скептик и не циник, а все-таки в образовании толк понимаю. Мы их приструним! Мои родители у меня давно уж ни гу-гу. Что, вы уж пили кофей? Нет? Ну, так и я с вами напьюсь. Пойдите мне на папироску принесите, а то я свой табак дома забыл.

Невеста вышла.

Это перед свадьбой... А что будет после свадьбы, я полагаю, известно не одним только пророкам да сомнамбулам.

ЖЕНЫ АРТИСТОВ

(Перевод... с португальского)

Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона, Альфонсо Зинзага, молодой романист, столь известный... только самому себе и подающий великие надежды... тоже самому себе, утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой. Обитал он в 147 номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы «Ядовитого лебеда». Вошедши в 147 номер, он окинул взглядом свое коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажег свечу, после чего взорам его представилась умильная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков, на маленькой, обитой сизым коленкором кушетке спала его хорошенькая жена, Амаранта. Умиленный Зинзага подошел к ней и, после некоторого размышления, дернул ее за руку. Она не просыпалась. Он дернул ее за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Он похлопал ее по плечу, постукал пальцем по ее мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чхнул на всю гостиницу, а она... даже и не пошевелилась.

«Вот спит-то! — подумал Зинзага. — Что за черт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла сильно повлиять на нее...»

И Зинзага, сделав большие глаза, потряс кушетку. С Амаранты медленно сползла какая-то книга и, шелестя, шлепнулась об пол. Романист поднял книгу, раскрыл ее, взглянул и побледнел. Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон Барабанта-Алимонда, — роман «Колесование в Санкт-Московске сорока четырех

двадцатипятилетцев», роман, как видите, из русской, значит, самой интересной жизни — и вдруг...

— Она уснула, читая мой роман!?! — прошептал Зинзага. — Какое неуважение к изданию графа Барабанта-Алимонда и к труду Альфонсо Зинзаги, давшего ей славное имя Зинзаги!

— Женщина! — гаркнул Зинзага во все свое португальское горло и стукнул кулаком о край кушетки.

Амаранта глубоко вздохнула, открыла свои черные глаза и улыbnулась.

— Это ты, Альфонсо? — сказала она, протягивая руки.

— Да, это я!.. Ты спишь? Ты... спишь?.. — забормотал Альфонсо, садясь на дрябло-хилый стул. — Что ты делала перед тем, как уснула?

— Ходила к матери просить денег.

— А потом?

— Читала твой роман.

— И уснула? Говори! И уснула?

— И уснула... Ну, чего сердиться, Альфонсо?

— Я не сержусь, но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно относишься к тому, что если еще и не дало, то даст мне славу! Ты уснула, потому что читала мой роман! Я так понимаю этот сон!

— Полно, Альфонсо! Твой роман я читала с большим наслаждением... Я приковалась к твоему роману. Я... я... Меня особенно поразила сцена, где молодой писатель, Альфонсо Зензига, застреливается из пистолета...

— Эта сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней»!

— Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? Ах, да... Я плакала на том месте, где русский маркиз Иван Иванович бросается из ее окна в реку... реку... Волгу.

— Аааа... Гм!

— И утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну... Я была поражена...

— Почему же ты уснула, если была поражена?

— Мне так хотелось спать! Я ведь всю ночь прошлую не спала. Всю ночь напролет ты был так мил, что читал мне свой новый, хороший роман, а удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон...

— Аааа... Гм... Понимаю! Дай мне есть!

— А разве ты еще не обедал?

— Нет.

— Ты же, уходя утром, сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора «Лиссабонских губернских ведомостей»?

— Да, я полагал, что мое стихотворение будет помещено в этих «Ведомостях», чтобы черт их взял!

— Неужели же не помещено?

— Нет...

— Это несчастье! С тех пор, как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов! И ты голоден?

— Голоден.

— Бедняжка Альфонсо! И денег у тебя нет?

— Гм... Что за вопрос?! Ничего нет поесть?

— Нет, мой друг! Мать меня только покормила, а денег мне не дала.

— Гм...

Стул затрещал. Зинзага поднялся и зашагал... Пошагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, что голод есть малодушие, что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек, что тот не артист, кто не голоден, и т. д., и, наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним, в 148 номере «Ядовитого лебедя», обитает художник-жанрист, итальянец, Франческо Бутронца, человек талантливейший, кое-кому известный и, что так немаловажно под луной, обладающий умением, которого никогда не знал за собой Зинзага, — ежедневно обедать.

— Пойду к нему! — решил Зинзага и отправился к соседу.

Вошедши в 148 номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда пообедать в обществе Франческо Бутронца канула в воду, когда романист среди рамок, подрамников, безруких манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех родов и веков, усмотрел своего друга, Франческо Бутронца... Франческо Бутронца, в шляпе à la Vandic и в костюме Петра Амьенского, стоял на табурете, неистово махал муштабелем и гремел. Он был более чем ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая на столе. Лицо его горело, глаза блестели, эспаньолка дрожала, волосы его стояли дыбом и каждую минуту, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу, прижавшись к статуе, изображающей безрукого, безносого, с большим угловатым отверстием на груди Аполлона, стояла жена горячего Франческо Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом смотрела на лампу. Она была бледна и дрожала всем телом.

— Варвары! — гремел Бутронца. — Вы не любите, а душите искусство, чтобы черт вас взял! И я мог жениться на тебе, немецкая холодная кровь?! И я мог, глупец, свободного, как ветер, человека, орла, серну, одним словом, артиста, привязать к этому куску

льда, сотканному из предрассудков и мелочей... Diablo!!!¹ Ты — лед! Ты — деревянная, каменная говядина! Ты... ты дура! Плачь, несчастная, переваренная немецкая колбаса! Муж твой — артист, а не торгош! Плачь, пивная бутылка! Это вы, Зинзага? Не уходите! Подождите! Я рад, что вы пришли... Посмотрите на эту женщину!

И Бутронца левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала.

— Полноте! — начал Зинзага. — Что вы ссоритесь, дон Бутронца? Что сделала вам донна Бутронца? Зачем вы доводите ее до слез? вспомните вашу великую родину, дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесно связано с поклонением женщине! вспомните!

— Я возмущен! — закричал Бутронца. — Вы войдите в мое положение! Я, как вам известно, принялся по предложению графа Барабанта-Алимонда за грандиозную картину... Граф просил меня изобразить ветхозаветную Сусанну... Я прошу ее, вот эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру, прошу с самого утра, ползаю на коленях, выхожу из себя, а она не хочет! Вы войдите в мое положение! Могу ли я писать без натуры?

— Я не могу! — зарыдала Каролина. — Ведь это неприлично!

— Видите? Видите? Это — оправдание, черт возьми?

— Я не могу! Честное слово, не могу! велит мне раздеться да еще стать у окошка...

— Мне так нужно! Я хочу изобразить Сусанну при лунном свете! Лунный свет падает ей на грудь... Свет от факелов сбежавшихся фарисеев бьет ей в спину... Игра цветов! Я не могу иначе!

— Ради искусства, донна, — сказал Зинзага, — вы должны забыть не только стыдливость, но и все... чувства!..

— Не могу же я пересилить себя, дон Зинзага! Не могу же я стать у окна напоказ!

— Напоказ... Право, можно подумать, донна Бутронца, что вы боитесь глаз толпы, которая, так сказать, если смотреть на нее... Точка зрения искусства и разума, донна... такова, что...

И Зинзага сказал что-то такое, чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, — что-то весьма приличное, но крайне непонятное.

Каролина замахала руками и забегала по комнате, как бы боясь, чтобы ее насильно не раздели.

— Я мою его кисти, палитры и тряпки, я пачкаю свои платья о его картины, я хожу на уроки, чтобы прокормить его, я шью для него костюмы, я выношу запах конопляного масла, стою по целым дням на натуре, все делаю, но... голой? голой? — не могу!!!

¹ Дьявол! (исп.)

— Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпигия! — крикнул Бутронца.

— Куда же мне деваться? — ахнула Каролина. — Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увез меня, тогда и разводись!

— Хорошо! Кончу Сусанну и отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов, испорченных колбас и трихины! — крикнул Бутронца, незаметно для самого себя толкая локтем в грудь Зинзага. — Ты не можешь быть моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства! Вввв... Ррр... Дьябло!

Каролина зарыдала, ухватила за голову и опустилась на стул.

— Что ты делаешь? — заорал Бутронца. — Ты села на мою палитру!!

Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свежеразведенными красками... О, боги! Зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы Португалии великую картину! Зинзага махнул рукой и выскочил из 148 номера, радуясь, что он не художник, и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось пообедать у художника.

У дверей 147 номера его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица 113 номера, жена будущего артиста королевских театров, Петра Петрученца-Петрурио.

— Что с вами? — спросил ее Зинзага.

— Ах, дон Зинзага! У нас несчастье! Что мне делать? Мой Петр ушибся!

— Как ушибся?

— Учился падать и ударился виском о сундук.

— Несчастный!

— Он умирает! Что мне делать?

— К доктору, донна!

— Но он не хочет доктора! Он не верит в медицину и к тому же... он всем докторам должен.

— В таком случае сходите в аптеку и купите свинцовой примочки. Эта примочка очень помогает при ушибах.

— А сколько стоит эта примочка?

— Дешево, очень дешево, донна.

— Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра! У нас осталось еще немного денег, которые выручил он на любительском спектакле у графа Барабанта-Алимонда... Не знаю, хватит ли?.. Вы... вы не можете дать немного взаймы на эту оловянную примочку?

— Свинцовую, донна.

— Мы вам скоро отдадим.

— Не могу, донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трех стоп бумаги.

— Прощайте!

— Будьте здоровы! — сказал Зинзага и поклонился.

Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он увидел пред собою жилищу 101 номера, супругу опереточного певца, будущего португальского Оффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лай.

— Что вам угодно? — спросил он ее.

— Дон Зинзага, — сказала супруга певца и музыканта, ломая руки, — будьте так любезны, уймите моего буяна! Вы друг его... Может быть, вам удастся остановить его. С самого утра бессовестный человек дерет горло и своим пением жить мне не дает! Ребенку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвет своим баритоном! Ради бога, дон Зинзага! Мне соседней даже стыдно за него... Верите ли? И соседские дети не спят по его милости. Пойдемте, пожалуйста! Может быть, вам удастся унять его как-нибудь.

— К вашим услугам, донна!

Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101 номере между кроватью, занимающею половину, и колыбелью, занимающею четверть номера, стоял пиюштр. На пиюштре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский Оффенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему, красному лицу его и по впечатлению, которое производил он на свои и чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасно, и мучительно, и с остервенением. Видно было, что он пел и в то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт, причем поднимал высоко руку и ногу, постоянно сбивал с пиюштра ноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу... В колыбели лежал маленький человечек, который криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся папаше.

— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — спросил Лая вошедший Зинзага.

Лай не слышал.

— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — повторил Зинзага.

— Уберите его отсюда! — пропел Лай и указал подбородком на колыбель.

— Что это вы разучиваете? — спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая. — Что вы разу-чи-ва-ете?

Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу.

— Вам что угодно? — спросил он.

— Мне? Гм... Я... то есть... не пора ли вам отдохнуть?

— А вам какое дело?

— Но вы утомились, дон Лай! Что это вы разучиваете?

— Кантату, посвященную ее сиятельству графине Барабанта-Алимонда. Впрочем, вам какое дело?

— Но уже ночь... Пора, некоторым образом, спать...

— Я должен петь до десяти часов завтрашнего утра. Сон нам ничего не даст. Пусть спят те, кому угодно, а я для блага Португалии, а может быть и всего света, не должен спать.

— Но, мой друг, — вмешалась жена, — мне и ребенку нашему хочется спать! Ты так громко кричишь, что нет возможности не только спать, но даже сидеть в комнате!

— Коли захочешь, так заснешь!

Сказавши это, Лай ударил ногой такт и запел.

Зинзага заткнул уши и как сумасшедший выскочил из 101 номера. Пришедши в свой номер, он увидел умилительную картину. Его Амаранта сидела за столом и переписывала начисто одну из его повестей. Из ее больших глаз капали на черновую тетрадку крупные слезы.

— Амаранта! — крикнул он, хватая жену за руку. — Неужели жалкий герой моей жалкой повести мог тронуть тебя до слез? Неужели, Амаранта?

— Нет, я плачу не над твоим героем...

— Чего же? — спросил разочарованный Зинзага.

— Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья Фердрабантеро-Неракруц-Розга, разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу Барабанта-Алимонда, и... не перенесла горя мужа... Отравилась спичками!

— Несчастная... статуя! О, жены, чтобы черт вас взял, вместе с вашими всезацепляющими шлейфами! Она отравилась? Черт возьми, тема для романа!!! Впрочем, мелка!.. Все смертно на этом свете, мой друг... Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, твоя подруга, все одно, должна была умереть... Утри свои слезы и лучше, чем плакать, выслушай меня...

— Тема для нового романа? — спросила тихо Амаранта.

— Да...

— Не лучше ли будет, мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежей как-то...

— Нет, сегодня выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин, и мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал вместе с твоим любимым... к сожалению, любимым, Виктором Гюго.

— Да?

— Да... Выслушай же меня!

Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал:

— Место действия весь свет... Португалия, Испания, Франция,

Россия, Бразилия и т. д. Герой в Лиссабоне узнает из газет о несчастии с героиней в Нью-Йорке. Едет. Его хватают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня — агент Франции. В газетах намеки... Англичане. Секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Интриги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить. Понимаешь? Далее...

Зинзага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами... говорил долго, долго... ужасно долго!

Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась, на улицах потушили фонари и взошло солнце, а он все говорил. Пробыло шесть часов, желудок Амаранты ущемила тоска по утреннем чае, а он все говорил.

— Бисмарк подает в отставку, и герой, не желая более скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга и умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую душу...

Так кончил Зинзага, когда пробыло семь часов.

— Ну? — спросил он Амаранту. — Что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсо и Марией не пропустит цензура? А?

— Нет, сценка мила!

— Вообще хорошо? Ты говори откровенно. Ты женщина, а большинство моих читателей — женщины, потому мне необходимо знать твое мнение.

— Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала, не помню только, где именно...

— Не может быть!

— Право. С твоим героем я встречалась в одном романе, и надо тебе сказать, в глупейшем романе! Когда читала этот роман, я удивлялась, как это могут печатать подобную чушь, а когда прочла его, то решила, что автор должен быть, по меньшей мере, глуп как пробка... Чушь печатают, а тебя мало печатают. Удивительно!

— Не припомнишь ли хотя название этого романа?

— Названия не помню, но имя героя помню. Это имя врезалось мне в память, потому что имеет в себе четыре «р» подряд... Глупое имя... Карррро!

— Не в романе ли «Сомнамбула среди океана»?

— Да, да, да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу! В этом самом... Твой герой очень похож на Карррро, но твой, разумеется, умней. Что с тобой, Альфонсо?

Альфонсо вскочил.

— «Сомнамбула среди океана» — мой роман!!! — крикнул он.

Амаранта покраснела.

— Значит, это мой роман глупейший, мой? — крикнул он так

громко, что даже у Амаранты заболело горло. — Ах ты, безмозглая утка! Так-то вы, сударыня, смотрите на мои произведения? Так-то, ослица? Проговорились? Больше меня уж вы не увидите! Прощайте! Гм... бррр... идиотка! Мой роман глупейший?! Граф Барбанта-Алимонда знал, что издавал!

Бросив презрительный взгляд на жену, Зинзага нахлобучил на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел из 147 номера.

Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обморок не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротится в 147 номер, как бы сильно ни был сердит. Оставить навсегда 147 номер для романиста значит то же самое, что начать жить, а следовательно, и писать и иметь даровую переписчицу на лиссабонских бульварах, под голубым португальским небом. Это знала Амаранта и не сильно волновалась по уходе супруга. Она только вздохнула и принялась утешать себя. Обыкновенно после частых ссор с мужем она утешала себя чтением старого газетного листка, который хранился у нее в жестяной коробочке из-под монпансье, рядом с крошечной бутылочкой из-под духов. Старый газетный листок между объявлений, телеграммами, политикой, хроникой и другими рук человеческих делами заключал в себе перл, известный в газетках под именем смеси. В этой смеси, под рассказом о том, как американец перехитрил американца и как известная певица мисс Дубадолла Свист съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок, Анды, помещался рассказец, весьма годный для утешения Амаранты и других жен артистов. Привожу дословно этот рассказ:

«Вниманию португальцев и их дочерей. В одном из городов Америки, открытой Христофором Колумбом, человеком крайне энергичным и отважным, жил-был себе доктор Таннер. Этот Таннер был более артистом в своем роде, чем ученым, а потому известен земному шару и Португалии не как ученый, а как артист в своем роде. Будучи американцем, он в то же самое время был и человеком, а если он был человеком, то рано или поздно он должен был влюбиться, что и сделал он однажды. Влюбился он в одну прекрасную американку, влюбился до безумия, как артист, влюбился до того, что однажды вместо aquae distillatae¹ прописал argentum nitricum², — влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых порах весьма счастливо, так счастливо, что медовый месяц³ тянулся, вопреки естеству этого месяца, не месяц, а шесть месяцев⁴. Нет сомнения, что Таннер,

¹ Дистиллированная вода (*лат.*).

² Ляпис (*лат.*).

³ Медовый месяц меньше лунного. Содержит он в себе 20 дней, 5 часов, 15 минут, 16 секунд. — *Примеч. переводчика.*

⁴ Невероятно! — *Примеч. переводчика.*

будучи человеком ученым, а следовательно, и самым уживчивым, прожил бы с женой счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел за нею одного страшного порока. Порок madame Таннер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены кольнул Таннера в самое сердце. «Я перевоспитаю ее!» — задал он себе задачу и начал развивать m-me Таннер. Сперва отучил он ее завтракать и ужинать, потом чай пить. Через год после свадьбы m-me Таннер приготавливала к обеду уже не четыре, а только одно блюдо, через два же года после подписания свадебного контракта она умела уже довольствоваться баснословным количеством пищи.

А именно, в одни сутки поела и выпивала она следующее количество питательных веществ:

- 1 gr. солей
- 5 gr. белковых веществ
- 2 gr. жира
- 7 gr. воды (дистиллированной)
- $\frac{1}{23}$ gr. венгерского вина.
- Итого $15\frac{1}{23}$ гран.

Газов мы не считаем, потому что наука еще не в состоянии точно определять количество потребляемых нами газов. Таннер торжествовал, но недолго. На четвертый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что m-me Таннер поедает много белковых веществ. Он еще с большей энергией принялся за дрессировку и, пожалуй, достиг бы сокращения 5 гран до одного или нуля, если бы не почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. M-me Таннер, вместо того чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того ни с сего обратиться в подобие американской щепки, лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем и показала, что она хотя и годится еще для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни. D-r Таннер потребовал развода. Явились в его дом ученые эксперты, осмотрели со всех сторон m-me Таннер, посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику, прописали ей диету и нашли требование своего уважаемого коллеги вполне законным. D-r Таннер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим завтраком и... с этих пор Таннер живет в одном месте, а жена его в другом. Печальная история! Женщины, как часто бываете причиною несчастий великих людей! Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомства? Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей! Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних очагов и гнезд!! Мы кончили. Завтрашний номер, по случаю дня рождения редактора, не выйдет. Португальцы!

Кто из вас не внес подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить!»

— Бедная m-me Таннер! — прошептала Амаранта, пробежав этот рассказец. — Бедная! Как она несчастлива! О, как я счастлива сравнительно с нею! Как я счастлива!

Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее ее, старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она не m-me Таннер, разделась и легла спать.

Спала она до тех пор, пока не разбудил ее ужаснейший голод в лице Альфонсо Зинзага.

— Я хочу есть! — сказал Зинзага. — Оденься, моя дорогая, и ступай к своей madre за деньгами. А propos!: я извиняюсь перед тобой. Я был неправ. Я сейчас только узнал от русского писателя Державина, который приехал вместе с Лермантофф, другим русским писателем, что есть два романа, совершенно не похожие друг на друга и носящие одно и то же имя: «Сомнамбула среди океана». Иди, мой друг!

И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он намерен описать, сказав между прочим, мимоходом, что описание этого, трогającego за душу и тело, случая требует у нее некоторой жертвы.

— Жертва, мой друг, будет невелика! — сказал он. — Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более семи-восьми часов, и переписать его начисто и между прочим, этак мимоходом, изложить на бумаге и свое мнение относительно всех моих произведений... Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины...

Зинзага немножко солгал. Не большинство, а всех его читателей составляла одна только женщина, потому что Амаранта была не «женщины», а только всего «женщина».

— Согласна?

— Да, — сказала тихо Амаранта, побледнела и упала без чувств на растрепанный, вечно валяющийся, пыльный энциклопедический словарь...

— Удивительный народ эти женщины! — воскликнул Зинзага. — Прав был я, когда назвал женщину в «Тысяче огней» существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода человеческого! Малейшая радость способна повалить ее на пол! О, женские нервы!

И счастливый Зинзага опустился на колени перед несчастной Амарантой и поцеловал ее в лоб...

¹ Кстати (*франц.*).

Такие-то дела, читательницы!

Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им и пек, этим артистам!», как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протеже графа Барабанта-Алимонда.

Право, лучше!

ПЕТРОВ ДЕНЬ

Наступило утро желанного, давно снившегося дня, наступило — урааа, господа охотники!! — 29 июня... Наступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи, тещи и даже молодые жены, — день, в который г. уряднику, запрещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей...

Побледнели и затуманились звезды... Кое-где слышались голоса... Из деревенских труб повалил сизый, едкий дым. На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся пономарь и ударил к обедне... Слышалось храпенье растянувшегося под деревом ночного сторожа. Проснулись щуры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой и подняли свое невыносимое, надоедливое чириканье... В терновнике запела иволга... Над людской кухней засуетились скворцы и удоы... Начался даровой утренний концерт...

К развалившемуся, живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егорыча Обтемперанского подъехали две тройки. В доме и во дворе поднялась страшная кутерьма. Все живущее вокруг Егора Егорыча заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням... Переменили одного коренного. У кучеров слетели с голов картузы, у лакея, Катькина прихвостня, засиял под носом красный фонарь, кухарок назвали «стервозами», слышалось имя сатаны и аггелов¹ его... В пять минут тарантасы наполнились коврами, полостями, кульками с провизией, ружейными чехлами.

— Готово-с! — пробасил Аввакум.

— Пожалуйте! Готово! — крикнул сладеньким голоском Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная публика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор. За ним вполз архангельский мешанин Кузьма Больва, старичок в сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с двадцатипятифунтовой двустовкой и с желто-зелеными пятнами на шее. Больва — плебей, но гг. помещики, из уважения к его преклонным летам (он родился в конце про-

¹ Ангелов.

плого столетия) и уменью попадать в подброшенный двугривенный, не брезгают его плебейством и берут с собой на охоту.

— Пожалуйте, ваше превосходительство! — обратился Егор Егорыч к маленькому седому толстячку в белом со светлыми пуговицами кителе и с аннинским крестом на шее. — Подвиньтесь, доктор!

Отставной генерал крикнул, стал одной ногой на подножку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом вскочили генеральский щенок Тщетный и легавый Егора Егорыча, Музыкант.

— М-м-м... того, братец... Ваня! — обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину. — Ты можешь сесть здесь, возле меня. Иди сюда! Н-да... Вот здесь. Не шали, мой друг! Лошадь может испугаться!

Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня вскочил в тарантас, отодвинул Больву от генерала и, повертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с доктором. На козлах, рядом с Аввакумом, примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики в Ваниной гимназии, г. Манже.

Первый тарантас наполнился. Началась нагрузка второго тарантаса.

— Готово! — крикнул Егор Егорыч, когда во второй тарантас, после долгих споров и беганья вокруг и около, поместились остальные восемь человек и три собаки.

— Готово! — крикнули гости.

— Ну? Итак, значит, трогать, ваше превосходительство? Господи благослови, — трогай, Аввакумка!

Первый тарантас покачнулся и тронулся с места. Второй, вмещавший в себе самых ярых охотников, покачнулся, отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись впереди первого, покатил к воротам. Охотники улынулись все разом и захолопали от восторга в ладоши. Все почувствовали себя на седьмом небе, но... злая судьба!.. не успели они выехать со двора, как случился скандал...

— Стой! Подожди! Стой!!! — раздался сзади троек пронзительный тенор.

Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался невыносимейший в мире человек, известный всей губернии скандалист, брат Егора Егорыча, отставной капитан 2-го ранга Михай Егорыч... Он отчаянно махал руками. Тройки остановились.

— Что тебе? — спросил Егор Егорыч.

Михай Егорыч подбежал к тарантасу, стал на подножку и замахнулся на Егора Егорыча. Охотники зашумели.

— Что такое? — спросил покрасневший Егор Егорыч.

— То такое, — закричал Михай Егорыч, — что ты Иуда, скотина, свинья!.. Свинья, ваше превосходительство! Ты отчего не

разбудил меня? Отчего ты не разбудил меня, осел, я тебя спрашиваю, подлеца этакого? Позвольте, господа... Я ничего... Я его только поучить хочу! Ты почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помещаю тебе? Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до двенадцати часов! Каков молодец! Позвольте, ваше превосходительство... Я его только раз... смажу... Позвольте!

— Чего вы лезете? — крикнул генерал, растопыривая руки. — Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком... позволяете...

— Напрасно ты бранишься, Михай, — сказал Егор Егорыч. — Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать с нами... Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять!

— Не умею? Не умею я стрелять? — закричал Михай Егорыч так громко, что даже Больва заткнул уши. — Но, в таком случае, за каким чертом доктор едет! Он тоже не умеет стрелять! Он лучше меня стреляет?

— Он прав, господа, — сказал доктор. — Я не умею стрелять, не умею ружья даже держать... Я терпеть не могу стрельбы... Я не знаю, зачем вы берете меня с собой... За каким дьяволом? Пусть он садится на мое место! Я остаюсь!.. Есть место, Михай Егорыч!

— Слышишь, слышишь? Зачем же ты его берешь?

Доктор поднялся с явным намерением вылезти из тарантаса. Егор Егорыч схватил доктора за фалду и потянул его вниз.

— Но... не рвите сюртука! Он тридцать рублей стоит... Пустите! И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной сегодня... Я не в духе и могу неприятностей наделать, сам того не желая. Пустите, Егор Егорыч! Садитесь на мое место, Михай Егорыч! Я спать пойду!

— Вы должны ехать, доктор! — сказал Егор Егорыч, не выпуская фалды. — Вы дали честное слово, что поедете!

— Это было вынужденное честное слово. Ну, для чего мне ехать, для чего?

— А для того, — запищал Михай Егорыч, — чтобы вы не остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор. Не езжайте, голубчик! Назло не езжайте! Ревнует, ей-богу ревнует!

Егор Егорыч густо покраснел и сжал кулаки.

— Эй, вы! — крикнули с другого тарантаса. — Михай Егорыч, будет вам ерундить! Идите сюда, нашлось место!

Михай Егорыч ехидно улыбнулся.

— А что, акула? — сказал он. — Чья взяла? Слышал? Нашлось место! Назло поеду! Поеду и буду мешать! Честное слово, буду мешать! Ни черта не убьешь! А вы, доктор, не езжайте. Пусть лопнет от ревности.

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. Глаза его налились кровью.

— Негодяй! — сказал он, обращаясь к брату. — Ты не брат мне! Недаром прокляла тебя матушка покойница! Батюшка скончался во цвете лет чрез твое безнравственное поведение!

— Господа... — вмешался генерал. — Я полагаю... достаточно. Братья, рродные братья!

— Он родной осел, ваше превосходительство, а не брат! Не езжайте, доктор! Не езжайте!

— Трогай, чтобы черт побрал вас... А-а-а... Черт знает, что такое! Трогай! — крикнул генерал и ударил кулаком в спину Аввакума. — Трогай!

Аввакум ударил по лошадям, и тройка тронулась с места. Во втором тарантасе писатель, капитан Кардамонов, взял себе на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея Егорыча.

— Счастье его, что нашлось место! — сказал Михей Егорыч, усаживаясь в тарантасе, — а то бы я его... Опишите-ка этого разбойника, Кардамонов!

Кардамонов послал в прошлом году в «Ниву» статью под заглавием: «Интересный случай многоплодия среди крестьянского народонаселения», прочел в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и прослыл писателем.

Согласно предначертанному плану действий, решено было ехать прежде всего на крестьянский сенокос, находящийся в семи верстах от имения Егора Егорыча, — ехать на перепелов. Приехавши на сенокос, охотники вылезли из тарантасов и разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала и Егора Егорыча, направилась направо; другая, с Кардамоновым во главе, пошла налево. Больва отстал и пошел сам по себе. На охоте он любил тишину и молчание. Музыкант с лаем побежал вперед и через минуту согнал перепела. Ваня выстрелил и не попал.

— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он. Щенок Тщетный, взятый «приучаться», услышав первый раз в жизни выстрел, залаял и, поджав хвост, побежал к тарантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал.

— Нравится мне эта птичка! — сказал он, показывая доктору жаворонка.

— Проваливайте... — сказал тот. — Вообще я просил бы вас не беседовать со мною... Я сегодня не в духе. Отойдите от меня!

— Вы скептик, доктор!

— Я-то? Гм... А что значит скептик?

Манже задумался.

— Скептик значит человеко... человеко... нелюбец, — сказал он.

— Врете. Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня! Я могу наделать неприятностей, сам того не желая... Я не в духе...

Музыкант сделал стойку. Генерал и Егор Егорыч побледнели и притаили дыхание.

— Я выстрелю! — прошептал генерал. — Я... я... позвольте! Вы во второй раз уж того...

Но не удалась стойка. Доктор от нечего делать пустил камешком в Музыканта и попал между ушей... Музыкант взвизгнул и подскочил. Генерал и Егор Егорыч оглянулись. В траве послышался шорох и взлетел крупный стрепет. Во второй группе зашумели и указали на стрепета. Генерал, Манже и Ваня прицелились. Ваня выстрелил, у Манже осеклось... Поздно было! Стрепет полетел за курган и опустился в рожь.

— Полагаю, доктор, что... не время теперь шутить! — обратился генерал к доктору. — Не время-с!

— А?

— Не время теперь шутить.

— Я не шучу.

— Неловко, доктор! — заметил Егор Егорыч.

— Не брали бы... Кто вас просил брать меня? Впрочем... не желаю объясняться... Я не в духе сегодня...

Манже убил другого жаворонка. Ваня согнал молодого грача, выстрелил и не попал.

— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он.

Послышались два подряд выстрела: Большва уложил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил. Подстреленная перепелка упала в траву. Торжествующий Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу.

— В крылышко, ваше превосходительство! Жива еще-с!

— Н-да... Жива... Надо предать скорой смерти.

Сказавши это, генерал поднес перепелку ко рту и клыками перегрыз ей горло. Манже убил третьего жаворонка. Музыкант сделал другую стойку. Генерал сбросил с головы фуражку, навел ружье... «Пиль!» Взлетел крупный перепел, но... мерзавец доктор торчал как раз в области выстрела, почти перед дулом!

— Прочь! — крикнул генерал.

Доктор отскочил, генерал выстрелил, и, разумеется, дробь опоздала.

— Это низко, молодой человек! — крикнул генерал.

— Что такое? — спросил доктор.

— Вы мешаете! Черт вас просит мешать! По вашей милости я промахнулся! Черт знает что такое — из ружья вон!

— Да вы-то чего кричите? Пфф... не боюсь! Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а в особенности отставных. Потипше, пожалуйста!

— Удивительный человек! Ходит и мешает, ходит и мешает, — ангел выйдет из терпения!

— Не кричите, пожалуйста, генерал! Кричите вот на Манже! Он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто не помешает. Скажите лучше, что стрелять не умеете!

— Довольно-с! Вам слово — вы десять... Ваничка, дай-ка сюда пороховницу! — обратился генерал к Ване.

— Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? — спросил доктор Егора Егорыча.

— Нельзя, брат! — ответил Егор Егорыч. — Нельзя было не взять. Ведь я ему того... восемь тысяч... Э-хе-хе, братец! Не будь этих проклятых долгов...

Егор Егорыч не договорил и махнул рукою.

— Правда, что ты ревнуешь?

Егор Егорыч отвернулся и прицелился в высоко летевшего коршуна.

— Ты его потерял, молокосос! — раздался громовый голос генерала. — Ты потерял его! Он сто рублей стоит, поросенок!

Егор Егорыч подошел к генералу и осведомился, в чем дело. Оказалось, что Ваня потерял генеральский патронташ. Начались поиски за патронташем, и охота была прервана. Поиски продолжались час с четвертью и увенчались успехом. Нашедши патронташ, охотники сели отдохнуть.

Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем удачна. В этой группе Михей Егорыч был тем же, чем доктор в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружья, бранился, бил собак, рассыпал порох, словом — выделял черт знает что... После неудачных выстрелов по перепелам, Кардамонов со своими собаками погнался за молодым коршуном. Коршуна подстрелили и не нашли. Капитан 2-го ранга убил камнем суслика.

— Господа, давайте анатомировать суслика! — предложил письмоводитель предводителя дворянства, Некричихвостов.

Охотники сели на траву, вынули перочинные ножи и занялись анатомией.

— Я в этом суслике ничего не нахожу, — сказал Некричихвостов, когда суслик был изрезан на мелкие кусочки. — Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что, господа? Поедемте-ка на болота! Что мы тут можем убить? Перепела — не дичь; то ли дело кулички, бекасы... А? Едем!

Охотники поднялись и лениво направились к тарантам.

Приближаясь к тарантасам, они сделали залп по своим голубям и убили одного.

— Ваше превосходство... Егорыгорч! Ваше... Егорч... — закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. — Ау, ау!

Генерал и Егор Егорыч оглянулись. Вторая группа замахала фуражками.

— Зачем? — крикнул Егор Егорыч.

— Дело есть! Дрохву убили! Скорей сюда!

Первая группа дрохве не поверила, но к тарантасам пошла. Усевшись в тарантасы, охотники порешили оставить перепелов в покое и согласно маршруту проехать еще пять верст — к болотам.

— Я ужасно горяч на охоте, — обратился генерал к доктору, когда тройки отъехали версты на две от сенокоса. — Ужасно! Отца родного не пощажу. Уж вы того... извините старику!

— Гм...

— Каким добряком, шельмец, стал! — шепнул Егор Егорыч доктору на ухо. — Что значит мода пошла дочек за докторов отдавать! Хитер его превосходительство! Хе-хе-хе...

— А просторней стало! — заметил Ваня.

— Да.

— Отчего бы это? Совсем просторно...

— Господа, а Больва где? — хватился Манже.

Охотники посмотрели друг на друга.

— Где Больва? — повторил Манже.

— Должно быть, на той тройке. Господа, — крикнул Егор Егорыч, — Больва с вами?

— Нет, нету! — крикнул Кардамонов.

Охотники задумались.

— Ну, черт с ним! — порешил генерал. — Не ворочаться же за ним!

— Надо бы, ваше превосходительство, воротиться. Слаб уж очень! Без воды умрет. Не дойдет.

— Захочет, так дойдет.

— Умрет старичок. Ведь ему девяносто!

— Пустяки.

Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономии... Болота были запружены охотниками, и вылезать из тарантасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники порешили проехать еще пять верст, к казенным лесам.

— Кого же вы там стрелять будете? — спросил доктор.

— Дроздов, орлиц... Ну, тетеревов.

— Так-с. Ну, а что поделявают теперь мои несчастные больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Егорыч? Эх!

Доктор вздохнул и почесал затылок. Подъехав к первому попав-

пешую леску, охотники повывлезли из тарантасов и начали совещаться: кому идти направо и кому налево?

— Знаете что, господа? — предложил Некричихвостов. — В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдет... Гм... Дичь от нас не уйдет, господа! Давайте-ка прежде всего подкрепимся! Винца, водочки, икорки... балычка... Вот тут, на травке! Вы какого мнения, доктор? Вам лучше это знать: вы доктор. Ведь нужно подкрепиться?

Предложение Некричихвостова было принято. Аввакум и Фирс разостлали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал колбасу, сыр, балык, Некричихвостов раскупорил бутылки, Манже нарезал хлеба... Охотники облизнулись и возлегли.

— Ну-с, ваше превосходительство! По маленькой...

Охотники выпили и закусили. Доктор тотчас же налил себе другую и выпил. Ваня последовал его примеру.

— А ведь тут, надо полагать, и волки есть, — глубокомысленно заметил Кардамонов, поглядывая искоса на деревья.

Охотники подумали, поговорили и минут через десять порешили, что волков, надо полагать, нет.

— Ну-с? По другой? Пропустим-ка! Егор Егорыч, вы чего смотрите?

Выпили по другой.

— Молодой человек! — обратился Егор Егорыч к Ване. — Вы что чего думаете?

Ваня замотал головой.

— Но при мне можешь, — сказал генерал. — Без меня не пей, но при мне... Выпей немножко!

Ваня налил рюмку и выпил.

— Ну-с? По третьей? Ваше превосходительство...

Выпили по третьей. Доктор выпил шестую.

— Молодой человек!

Ваня замотал головой.

— Пейте, Амфитеатров! — сказал покровительственным тоном Манже.

— При мне можешь, но без меня... Выпей немного!

Ваня выпил.

— Чего это небо сегодня такое синее? — спросил Кардамонов.

Охотники подумали, потолковали и через четверть часа порешили, что неизвестно, отчего это небо сегодня такое синее.

— Заяц... заяц... заяц!!! Держи!!!

За бугром показался заяц. За ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватились за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняг, Музыканта и других со-

бак. Тщетный подумал, посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем.

— Крупный!.. Вот его бы того... Как это мы... прозевали?

— Да. Чего же эта бутылка тут того... Это вы не выпили, ваше высокопревосходительство? Э-э-э-э... Так вот вы как? Хо-ро-шо-с!

Выпили по четвертой. Доктор выпил девятую, с остервенением крикнул и отправился в лес. Выбрав самую широкую тень, он лег на травку, подложил под голову сюртук и тотчас же захрапел. Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво, и в нем выграла душа. Он стал на колени и продекламировал 20 стихов из Овидия.

Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский... Егор Егорыч согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похожий на него латинский. Манже не согласился с Егором Егорычем, заметив, что не место толковать там про языки, где сидит физико-математик и стоит так много бутылок, добавив, что ружье его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти хорошего ружья, что...

— По восьмой, господа?

— Не много ли будет?

— Ну-у-у... Что вы! Восемь, и много?! Вы, значит, не пили никогда!

Выпили по восьмой.

— Молодой человек!

Ваня замотал головой.

— Полно! Ну-ка, по-военному! Вы так хорошо стреляете...

— Выпейте, Амфитеатров! — сказал Манже.

— При мне пей, но без меня... Выпей немного!

Ваня отставил в сторону пиво и выпил еще рюмочку.

— По девятой, господа, а? Какого мнения? Терпеть не могу числа восемь. Восьмого числа у меня умер отец... Федор... то есть, Иван... Егор Егорыч! Наливайте!

Выпили по девятой.

— Жарко, однако.

— Да, жарко, но это не помешает нам выпить по десятой!

— Но...

— Плевать на жару! Докажем, господа, стихиям, что мы их не боимся! Молодой человек! Покажите-ка пример... Пристыдите вашего дядюшку! Не боимся ни хлада, ни жары...

Ваня выпил рюмочку. Охотники крикнули «ура» и последовали его примеру.

— Солнечный удар может приключиться, — сказал генерал.

— Не может.

— Не может... при нашем климате? Гм...

— Однако бывали же случаи... Мой крестный умер от солнечного удара...

— Вы, доктор, как думаете? Может ли при нашем климате удар приключиться... солнечный, а? Доктор!

— Ответа не последовало.

— Вам не приходилось лечить, а? Мы про солнечный... Доктор, где же доктор?

— Где доктор? Доктор!

Охотники посмотрели вокруг себя: доктора не было.

— Где же доктор? Исчезоша? Яко воск от лица огня! Ха-ха-ха.

— К Егоровой жене отправился! — ляпнул Михай Егорыч.

Егор Егорыч побледнел и уронил бутылку.

— К жене его отправился! — продолжал Михай Егорыч, кушая балык.

— Чего же вы врете? — спросил Манже. — Вы видели?

— Видел. Ехал мимо мужик на таратайке... ну, а он сел и уехал. Ей-богу. По одиннадцатой, господа?

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками.

— Я спрашиваю: куда вы едете? — продолжал Михай Егорыч. — За клубникой, говорит. Рожки шлифовать. Я, говорит, уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, милый Михай Егорыч! Кланяйтесь, говорит, свояку Егору Егорычу! И этак еще глазом сделал. На здоровье... хе-хе-хе.

— Лошадей!! — крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь, побежал к тарантасу.

— Скорей, а то опоздаешь! — крикнул Михай Егорыч.

Егор Егорыч втащил на козлы Аввакума, вскочил в тарантас и, погрозив охотникам кулаком, покати́л домой...

— Что же все это значит, господа? — спросил генерал, когда скрылась с глаз белая фуражка Егора Егорыча. — Он уехал... На чем же, черт возьми, я уеду? Он на моем тарантасе уехал! То есть не на моем, а на том, на котором мне нужно уехать... Это странно... Гм... Дерзко с его стороны...

С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как рвотное... Нужно было везти Ваню домой. После пятнадцатой охотники порешили тройку уступить генералу, с тем только условием, чтобы он, приехавши домой, немедленно выслал свежих лошадей за остальной компанией.

Генерал стал прощаться.

— Передайте ему, господа, — сказал он, — что... что так делают одне только свиньи.

— Вы, ваше превосходительство, векся его протестуйте! — посоветовал Михай Егорыч.

— А? Векся? Нда-с... Пора уже ему... Нужно честь знать...

Я ждал, ждал и наконец утомился ждать... Скажите ему, что протест... Прощайте, господа! Прошу ко мне! А он свинья-с!

Охотники простились с генералом и положили его в тарантас рядом с заболевшим Ваней.

— Трогай!

Ваня и генерал уехали.

После восемнадцатой охотники отправились в лес и, постреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером приехали за ними генеральские лошади. Фирс вручил Михею Егорычу письмо с передачей «братцу». В этом письме была просьба, за неисполнение которой грозилось судебным приставом. После третьей (проснувшись, охотники повели новый счет) генеральские кучера уложили охотников в тарантасы и развезли их по домам.

Егор Егорыч, приехавши домой, был встречен Музыкантом и Тщетным, для которых заяц был только предлогом, чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою жену, Егор Егорыч принялся за поиски. Были обысканы все кладовые, шкафы, сундуки, комоды, — доктора не нашел Егор Егорыч. Он нашел другого: под женинной кроватью обрел он псаломщика Фортунатова...

Было уже темно, когда проснулся доктор... Поблуждав немного по лесу и вспомнивши, что он на охоте, доктор громко выругался и принялся аукать. Ответа на ауканье, разумеется, не последовало, и он порешил отправиться домой пешочком. Дорога была хорошая, безопасная, светлая. Двадцать четыре версты он отмахал в какие-нибудь четыре часа и к утру был уже в земской больнице. Побранившись всласть с фельдшерами, акушеркой и больными, он принялся сочинять крупнейшее письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось «объяснение неблагоприятных поступков», бранились ревнивые мужья и давалась клятва не ходить никогда более на охоту, — никогда! даже и двадцать девятого июня.

ТЕМПЕРАМЕНТЫ

(По последним выводам науки)

Сангвиник. Все впечатления действуют на него легко и быстро: отсюда, говорит Гуфеланд, происходит легкомыслие... В молодости он bébé¹ и Spitzbube². Грубит учителям, не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены. Учится скверно, но курсы оканчивает. Родителей не почитает. Когда богат, франтит; будучи же убогим, живет по-свински. Спит до двенадцати часов, ложит-

¹ Малыш (*франц.*).

² Плут (*нем.*).

ся в неопределенное время. Пишет с ошибками. Для любви одной природа его на свет произвела: только тем и занимается, что любит. Всегда не прочь нализаться до положения риз; напившись вечером до зеленых чертиков, утром встает как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове, не нуждаясь в «*similia similibus curantur*»¹. Женится нечаянно. Вечно воюет с тещей. С родней в ссоре. Врет напрадалую. Ужасно любит скандалы и любительские спектакли. В оркестре он — первая скрипка. Будучи легкомысленен, либерален. Или вовсе никогда ничего не читает, или же читает запоем. Газеты любит и сам не прочь погазетничать. Почтовый ящик юмористических журналов выдуман исключительно для одних только сангвиников. Постоянен в своем непостоянстве. На службе он чиновник особых поручений или что-либо подобное. В гимназии преподает словесность. Редко дослуживается до действительного статского советника; дослужившись же, делается флегматиком и иногда холериком. Шалопаи, прохвосты и брандахлысты — сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется: всю ночь анекдоты рассказывает, а за неимением анекдотов, ближних осуждает или врет. Умирает от болезней органов пищеварения и преждевременного истощения.

Женщина-сангвиник — самая сносная женщина, если она не глупа.

Холерик. Желчен и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке. Раздражителен. За укушение блохи или укол булавкой готов разорвать на клочки весь свет. Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы. Глубоко убежден, что зимой «черт знает как холодно», а летом «черт знает как жарко...». Ежедневно меняет кухарок. Обедая, чувствует себя очень скверно, потому что все бывает пережарено, пересолено... Большею частью холостяк, а если женат, то запирает жену на замок. Ревнив до чертиков. Шуток не понимает. Все терпеть не может. Газеты читает только для того, чтобы ругнуть газетчиков. Еще во чреве матери был убежден в том, что все газеты врут. Как муж и приятель — невозможен; как подчиненный — едва ли мыслим; как начальник — невыносим и весьма нежелателен. Нередко, к несчастью, он педагог: преподает математику и греческий язык. В одной комнате спать с ним не советуя: всю ночь кашляет, харкает и громко бранит блох. Услышав ночью пение котов или петухов, кашляет и дребезжащим голосом посылает лакея на крышу поймать и, во что бы то ни стало, задуть певца. Умирает от чахотки или болезней печени.

Женщина-холерик — черт в юбке, крокодил.

¹ «Подобное лечится подобным» (лат.).

Флегматик. Милый человек (я говорю, разумеется, не про англичанина, а про российского флегматика). Наружность самая обыкновенная, топорная. Вечно серьезен, потому что лень смеяться. Ест когда и что угодно; не пьет, потому что боится кондрашки, спит 20 часов в сутки. Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо ожидает конца. Женится в 30 лет при помощи дядюшек и тетюшек. Самый удобный для женитьбы человек: на все согласен, не ропщет и покладист. Жену величает душенькой. Любит поросеночка с хреном, певчих, все кисленькое и холодок. Фраза «Vanitas vanitatum et omnia vanitas»¹ выдумана флегматиком. Бывает болен только тогда, когда его избирают в присяжные заседатели. Завидев толстую бабу, кряхтит, шевелит пальцами и старается улыбнуться. Выписывает «Ниву» и сердится, что в ней не раскрашивают картинок и не пишут смешного. Пишущих считает людьми умнейшими и в то же время вреднейшими. Жалует, что его детей не секут в гимназии, и сам иногда не прочь посечь. На службе счастлив. В оркестре он — контрабас, фагот, тромбон. В театре — кассир, лакей, суфлер и иногда *roue manger*² актер. Умирает от паралича или водянки.

Женщина-флегматик — это слезливая, пучеглазая, толстая, крупичатая, сдобная немка. Похожа на куль с мукою. Родится, чтобы со временем стать тещей. Быть тещей — ее идеал.

Меланхолик. Глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные. Склонен к ипохондрии. Вечно жалуется на боль под ложечкой, колотье в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие — стоять перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думает, что слаб грудью и нервен, а потому ежедневно пьет вместо чая декокт и вместо водки — жизненный эликсир. С прискорбием и со слезами в голосе уведомляет своих ближних, что лавровишневые и валериановые капли ему уже не помогают... Полагает, что раз в неделю не мешало бы принимать слабительное. Давно уже порешил, что его не понимают доктора. Знахари, знахарки, шептуны, пьяные фельдшера, иногда повивальные бабки — первые его благодетели. Шубу надевает в сентябре, снимает в мае. В каждой собаке подозревает водобоязнь, а с тех пор, как его приятель сообщил ему, что кошка в состоянии задушить спящего человека, видит в кошках непримиримых врагов человечества. Духовное завещание у него давно уже готово. Божится и клянется, что ничего не пьет. Изредка пьет теплое пиво. Женится на сиротке. Тещу, если она у него

¹ «Суета сует и всяческая суета» (лат.).

² Ради хлеба (франц.).

есть, величает прекраснейшей и мудрейшей особой; наставления ее выслушивает молча, склонив голову набок; целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным рассолом руки считает своей священной обязанностью. Ведет деятельную переписку с дяденьками, тетеньками, крестной мамашей и друзьями детства. Газет не читает. Читал когда-то «Московские ведомости», но, чувствуя при чтении этой газеты тяжесть под ложечкой, сердцебиение и муть в глазах, он бросил ее. Втихомолку читает Дебе и Жозана. Во время ветлянской чумы пять раз говел. Страдает слезотечением и кошмарами. На службе не особенно счастлив: далее помощника столоначальника не дотянет. Любит «Лучинушку». В оркестре он — флейта и виолончель. Вздыхает день и ночь, а потому спать с ним в одной комнате не советую. Предчувствует потопа, землетрясение, войну, конечное падение нравственности и собственную смерть от какой-нибудь ужасной болезни. Умирает от пороков сердца, лечения знахарей и зачастую от ипохондрии.

Женщина-меланхолик — невыносимейшее, беспокойнейшее существо. Как жена — доводит до отупения, до отчаяния и самоубийства. Тем только и хороша, что от нее избавиться нетрудно: дайте ей денег и спровадьте ее на богомолье.

Холерико-меланхолик. Во дни юности был сангвиником. Черная кошка перебежала дорогу, черт ударил по затылку, и сделался он холерико-меланхоликом. Я говорю о известнейшем, бессмертнейшем соседе редакции «Зрителя». Девяносто девять процентов славянофилов — холерико-меланхолики. Непризнанный поэт, непризнанный *pater patriae*¹, непризнанный Юпитер и Демосфен... и т. д. Рогатый муж. Вообще всякий крикливый, но не сильный.

В ВАГОНЕ

Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый Трах-Тарарах» до станции «Спасайся, кто может!». Локомотив свистит, пипит, пыхтит, сопит... Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма... «Что-то будет! что-то будет!» — стучат дрожащие от старости лет вагоны... «Огого-гого-о!» — подхватывает локомотив... По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно... Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно... Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства... Боже мой!

¹ Отец отечества (*лат.*).

— Грешен!! — шепчу я. — Ох, как грешен!..

Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно... Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза.

— Что вам угодно? — спрашиваю я его, ощупывая свои карманы.

— Ничего-с! Я в окно смотрю-с! — отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину.

Слышен сильный пронзительный свист... Поезд начинает идти все тише и тише и наконец останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада.

— Гм... Водка, а не горько! — говорит солидный обер-кондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может: поперек горла остановился у него годовалый бутерброд.

— Жиндаррр!!! Жиндаррр!! — кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры... Иду посмотреть, в чем дело... У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного, в то время когда он спал, стащили сапоги и чулки...

— В чем же я поеду теперь? — кричит он. — Мне до Ррревеля ехать! Вы должны смотреть!

Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что «здесь кричать не приходится»... Иду в свой вагон № 224. В моем вагоне все то же: тьма, храп, табачный и сивушный запахи, пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани... В двух-трех шагах от следователя дремлет хорошенькая... Крестьянин, в соломенной шляпе, сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги... Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание... Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах...

— Сядем сюда, мать моя! — говорит одна. — Темень-то какая! Искушение да и только... Никак наступила на кого... А где Пахом?

— Пахом? Ах, батюшты! Где ж это он? Ах, батюшты!

Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает платформу.

— Пахо-ом! — дребезжит она. — Где ты? Пахом! Мы тутотко!

— У меня беда-а! — кричит голос за окном. — В машину не пуцают!

— Не пуцают? Который это не пуцает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть!

— Билеты уже не продают! Касс заперли!

По платформе кто-то ведет лошадь. Топот и фыркание.

— Сдай назад! — кричит жандарм. — Куда лезешь? Чего скандалишь?

— Петровна! — стонет Пахом.

Петровна сбрасывает с себя узел, хватая в руки большой железной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками.

— Вы бы взяли билет! — обращается он к старцу, сидящему против меня. — Контролер здесь!

— Да? Гм... Это нехорошо... Какой?.. Князь?

— Ну... Князя сюда и палками не загонишь...

— Так кто же? С бородой?

— Да, с бородой...

— Ну, коли этот, то ничего. Он добрый человек.

— Как хотите.

— А много зайцев едет?

— Душ сорок будет.

— Ннно? Моллодцы! Ай да коммерсанты!

Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я всегда ежу зайцем. На железных дорогах зайцами называются гг. пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем! Зайцам полагается, по нигде еще не напечатанному тарифу, 75% уступки, им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и... все что хотите, одним словом!

— Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь!? — бормочет старец. — Да никогда! Я плачу кондуктору. У кондуктора меньше денег, чем у Полякова!

Дребезжит третий звонок.

— Ах, матушки! — хлопчет старушонка. — Где ж это Петровна? Ведь вот уж и третий звонок! Наказание божие... Осталась! Осталась бедная... А вещи ее тут... Што с вещами-то делать, с сумочкой? Родимые мои, ведь она осталась!

Старушонка на минуту задумывается.

— Пуцай с вещами остаётся! — говорит она и бросает сумочку Петровны в окно.

Едем к станции Халдеево, а по путеводителю «Фрум — Общая Могила». Входят контролер и обер-кондуктор со свечой.

— Вашшш... билеты! — кричит обер-кондуктор.

— Ваш билет! — обращается контролер ко мне и к старцу.

Мы ежимся, сжимаемся, прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо обер-кондуктора.

— Получите! — говорит контролер своему спутнику и отходит. Мы спасены.

— Ваш билет! Ты! Ваш билет! — толкает обер-кондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик.

— Куда же ты едешь? — говорит контролер, вертя между пальцами билет. — Ты не туда едешь!

— Ты, дуб, не туда едешь! — говорит обер-кондуктор. — Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живоделово, а мы едем на Халдеево! Вааазьми! Вот не нужно быть никогда дураком!

Парень усиленно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза.

— Ты не плачь! — советует публика. — Ты лучше попроси! Такой здоровый болван, а ревешь! Женат небось, детей имеешь.

— Вашшшш... билет!.. — обращается обер-кондуктор к косарю в цилиндре.

— Га?

— Вашшшш... билеты! Поворачивайся!

— Билет? Нешто нужно?

— Билет!!!

— Понимаем... Отчего не дать, коли нужно? Даадим! — Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью двух с половиною вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру.

— Кого даешь? Это паспорт! Ты давай билет!

— Другого у меня билета нету! — говорит косарь, видимо встревоженный.

— Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?

— Да я заплатил.

— Кому ты заплатил? Что врешь?

— Кондухтырю.

— Какому?

— А шут его знает какому! Кондухтырю, вот и все... Не бери, говорил, билета, мы тебя и так провезем... Ну, я и не взял...

— А вот мы с тобой на станции поговорим! Мадам, ваш билет!

Дверь скрипит, отворяется, и, ко всеобщему нашему удивлению, входит Петровна.

— Насилу, мать моя, нашла свой вагон... Кто их разберет, все одинаковые... А Пахома так и не впустили, аспиды... Где моя сумочка?

— Гм... Искушение... Я тебе ее в окошко выбросила! Я думала, что ты осталась!

— Куда бросила?

— В окно... Кто ж тебя знал?

— Спасибо... Кто тебя просил? Ну да и ведьма, прости госпо-

ди! Что теперь делать? Своей не бросила, паскуда... Морду бы свою ты лучше выбросила! Аааа... штоб тебе повылазило!

— Нужно будет со следующей станции телеграфировать! — советует смеющаяся публика.

Петровна начинает голосить и нечестиво браниться. Ее подруга держится за свою суму и также плачет. Входит кондуктор.

— Чьи веш-ш-ш... чи! — выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны.

— Хорошенькая! — шепчет мне мой vis-à-vis старец, кивая на хорошенькую. — Гм-м-м... хорррошенькая... Черт подери, хлороформу нет! Дал бы ей понюхать, да и целуй во все лопатки! Благо все спят!..

Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги.

— Ученые... — бормочет он. — Ученые... Небось, против естества вещей и предметов не пойдешь!.. Ученые... гм... Небось, не сделают так, чтоб ноги можно было отвинчивать и привинчивать по произволению!

— Я тут ни при чем... Спросите товарища прокурора! — бредит мой сосед-следователь.

В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицер и молодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарят в картеж...

Направо от меня сидит высокая барыня из породы «само собою разумеется». От нее разит пудрой и пачулями.

— Ах, что за прелесть эта дорога! — шепчет над ее ухом какой-то гусь, шепчет приторно до... до отвращения, как-то французи-сто выговаривая буквы *z*, *n* и *p*. — Нигде так быстро и приятно не бывает сближение, как в дороге! Люблю тебя, дорога!

Поцелуй... Другой... Черт знает что! Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и... бессознательно кладет головку на плечо соседа, жреца Фемиды... а он, дурак, спит!!

Поезд останавливается. Полустанок.

— Поезд стоит две минуты... — бормочет сильный, надтреснутый бас вне вагона. Проходят две минуты, проходят еще две... Проходит пять, десять, двадцать, а поезд все еще стоит. Что за черт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву.

— Иван Матвейч! Скоро ж ты, наконец? Черт! — кричит обер-кондуктор под локомотив.

Из-под локомотива выползает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажки на носу...

— У тебя есть бог или нет? — обращается он к обер-кондуктору. — Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что

ли? Ааа... чтоб вам всем повывлазило!.. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка! Не могу я везти на нем!

— Что же делать?

— Делай что хочешь! Давай другой, а на этом не поеду! Да ты войди в положение...

Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат... Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из превеселого еврейского быта... Идет дождь... Направляюсь в вагон... Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе... В его руках чемодан. Чемодан этот мой... Боже мой!

ГРЕШНИК ИЗ ТОЛЕДО

(Перевод с испанского)

«Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именующая себя Марией Спаланцо, или кто доставит ее в заседание судей живой или мертвой, тот получит отпущение грехов».

Это объявление было подписано епископом Барцелоны и четырьмя судьями в один из тех давно минувших дней, которые навсегда останутся неизгладимыми пятнами в истории Испании и, пожалуй, человечества.

Объявление прочла вся Барцелона. Начались поиски. Было задержано шестьдесят женщин, походивших на искомую ведьму, были пытаемы ее родственники... Существовало смешное и в то же время глубокое убеждение, что ведьмы обладают способностью обращаться в кошек, собак или других животных и непременно в черных. Рассказывали, что очень часто охотник, отрезав лапу у нападавшего животного, уносил ее как трофей, но, открывая свою сумку, находил в ней только окровавленную руку, в которой узнавал руку своей жены. Жители Барцелоны убили всех черных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных жертвах Марии Спаланцо.

Мария Спаланцо была дочерью одного крупного барцелонского торговца. Отец ее был французом, мать испанкой. От отца получила она в наследство галльскую беспечность и ту безграничную веселость, которая так привлекательна во француженках, от матери же — чисто испанское тело. Прекрасная, вечно веселая, умная, посвятившая свою жизнь веселому испанскому ничегонеделанию и искусствам, она до двадцати лет не пролила ни одной слезы... Она была счастлива, как ребенок... В тот день, когда ей исполнилось ровно двадцать лет, она выходила замуж за известного

всей Барселоне моряка Спаланцо, очень красивого и, как говорили, ученейшего испанца. Выходила она замуж по любви.

Муж поклялся ей, что он убьет себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти.

На второй день свадьбы участь ее была решена.

Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась. Барселона велика, и не всякая испанка сумеет указать вам кратчайшую дорогу от одного конца города до другого. Ей встретился молодой монах.

— Как пройти на улицу св. Марка? — обратилась она к монаху.

Монах остановился и, о чем-то думая, начал смотреть на нее... Солнце уже успело зайти. Взошла луна и бросала свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром поэты, воспевая женщин, упоминают о луне! При луне женщина во сто крат прекраснее. Прекрасные черные волосы Марии, благодаря быстрой походке, рассыпались по плечам и по глубоко дышавшей, вздымавшейся груди... Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до локтей...

— Клянусь кровью св. Януария, что ты ведьма! — сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах.

— Если бы ты не был монахом, то я подумала бы, что ты пьян! — сказала она.

— Ты ведьма!!

Монах сквозь зубы пробормотал какое-то заклинание.

— Где собака, которая бежала сейчас впереди меня? Собака эта обратилась в тебя! Я видел!.. Я знаю... Я не прожил еще и двадцати пяти лет, а уже уличил пятьдесят ведьм! Ты пятьдесят первая! Я — Августин...

Сказавши это, монах перекрестился, повернул назад и скрылся.

Мария знала Августина... Она многое слышала о нем от родителей... Она знала его как ревностнейшего истребителя ведьм и как автора одной ученой книги. В этой книге он проклинал женщин и ненавидел мужчину за то, что тот родился от женщины, и хвалился любовью ко Христу. Но может ли, не раз думала Мария, любить тот Христа, кто не любит человека? Прошедши полверсты, Мария еще раз встретилась с Августином. Из ворот одного большого дома с длинной латинской надписью вышли четыре черные фигуры. Эти четыре фигуры пропустили ее мимо себя и последовали за ней. В одной из них она узнала того же Августина. Они проводили ее до самого дома.

Через три дня после встречи с Августином к Спаланцо явился человек в черном, с опухшим бритым лицом, по всем признакам судья. Этот человек приказал Спаланцо идти немедленно к епископу.

— Твоя жена ведьма! — объявил епископ Спаланцо.

Спаланцо побледнел.

— Поблагодари бога! — продолжал епископ. — Человек, имеющий от бога драгоценный дар открывать в людях нечистого духа, открыл нам и тебе глаза. Видели, как она обратилась в черную собаку и как черная собака обратилась в твою жену...

— Она не ведьма, а... моя жена! — пробормотал ошеломленный Спаланцо.

— Она не может быть женою католика! Она жена сатаны! Неужели ты до сих пор не замечал, несчастный, что она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди домой и приведи ее сейчас сюда...

Епископ был очень ученый человек. Слово «femina» производил он от двух слов: «fe» и «minus», на том якобы законном основании, что женщина имеет меньше веры...

Спаланцо стал бледнее мертвеца. Он вышел из епископских покоев и схватил себя за голову. Где и кому сказать теперь, что Мария не ведьма? Кто не поверит тому, во что верят монахи? Теперь вся Барселона убеждена в том, что его жена ведьма! Вся! Нет ничего легче, как убедить в какой-нибудь небывальщине глупого человека, а испанцы все глупы!

— Нет народа глупее испанцев! — сказал когда-то Спаланцо его умирающий отец, лекарь. — Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они!

Спаланцо верил в то, во что верят испанцы, но не поверил словам епископа. Он хорошо знал свою жену и был убежден в том, что женщины делаются ведьмами только под старость...

— Тебя хотят монахи сжечь, Мария! — сказал он жене, пришедши домой от епископа. — Они говорят, что ты ведьма, и приказали мне привести тебя *туда*... Послушай, жена! Если ты на самом деле ведьма, то бог с тобой! — обратись в черную кошку и убеги куда-нибудь; если же в тебе нет нечистого духа, то я не отдам тебя монахам... Они наденут на тебя ошейник и не дадут тебе спать до тех пор, пока ты не наврешь на себя. Убегай же, если ты ведьма!

Мария в черную кошку не обратилась и не убежала... Она только заплакала и стала молиться богу.

— Послушай! — сказал Спаланцо плачущей жене. — Мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые веруют в существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил правду. Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать то время... Очень просто! В гавани починяется корабль моего брата Христофора. Я спрячу тебя

в этот корабль, и ты не выйдешь из него до тех пор, пока не настанет время, о котором говорил мой отец. Время это, по его словам, настанет скоро...

Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и, дрожа от холода и страха, прислушивалась к шуму волн и с нетерпением ожидала того невозможного времени, о котором говорил отец Спаланцо.

— Где твоя жена? — спросил Спаланцо епископ.

— Она обратилась в черную кошку и убежала от меня, — со взврат Спаланцо.

— Я ожидал, предвидел это! Но ничего. Мы найдем ее... Великий дар у Августина! О, чудный дар! Иди с миром и другой раз не женись на ведьмах! Были примеры, что нечистые духи переселялись из жен в мужей... В прошлом году я сжег одного благочестивого католика, который через прикосновение к нечистой женщине против воли отдал душу свою сатане... Ступай!

Мария долго просидела в корабле. Спаланцо посещал ее каждую ночь и приносил ей все необходимое. Просидела она месяц, другой, просидела третий, но не наступало желаемое время. Прав был отец Спаланцо, но месяцев мало для предрассудков. Они живучи, как рыбы, и им нужны целые столетия... Мария привыкла к своему новому житью-бытью и уже начала посмеиваться над монахами, которых называла воробьями... Она прожила бы еще долго и, пожалуй, уплыла бы вместе с починенным кораблем, как говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой Испании, если бы не случилось одного страшного, непоправимого несчастья.

Объявление епископа, ходившее по рукам барселонцев и наклеенное на всех площадях и рынках, попало и в руки Спаланцо. Спаланцо прочел это объявление и задумался. Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявления.

— Хорошо бы получить отпущение грехов! — вздохнул Спаланцо.

Спаланцо считал себя страшным грешником. На его совести лежала масса таких грехов, за которые пошло на костер и умерло на пытке много католиков. В юности Спаланцо жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом мажиков и волшебников... В XII и XIII столетиях там больше, чем где-либо в Европе, процветала математика. От математики в испанских городах до магии один только шаг... Спаланцо под руководством отца тоже занимался магией. Он вскрывал внутренности животных и собирал необыкновенные травы... Однажды он толоч что-то в железной ступе, и из ступы с страшным треском вышел нечистый дух в ви-

де синеватого пламени. Жизнь в Толедо состояла сплошную из подобных грехов. Оставив Толедо после смерти отца, Спаланцо почувствовал вскоре страшные угрызения совести. Один старей, очень ученый монах-доктор сказал ему, что его грехи не простятся ему, если он не получит отпущения грехов за какой-нибудь недюжинный подвиг. За отпущение грехов Спаланцо готов был отдать все, лишь бы только освободить свою душу от воспоминаний о позорном толедском житье и избежать ада. Он отдал бы половину своего состояния, если бы тогда продавались в Испании индульгенции... Он отправился бы пешком в святые места, если бы его не удерживали его дела.

«Не будь я ее мужем, я выдал бы ее...» — подумал он, прочитав объявление епископа.

Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы получить отпущение, застряла в его голове и не давала ему покоя ни днем, ни ночью... Он любил свою жену, сильно любил... Не будь этой любви, этой слабости, которую так презирают монахи и даже толедские доктора, пожалуй, можно было бы... Он показал объявление брату Христофору...

— Я выдал бы ее, — сказал брат, — если бы она была ведьма и не была бы такой красивой... Отпущение вещь хорошая... Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марии и выдадим ее тем воронам мертвую...

Пусть сожгут мертвую... Мертвым не больно. Она умрет, когда мы будем стары, а в старости-то нам и понадобится отпущение...

Сказавши это, Христофор захохотал и ударил брата по плечу.

— Я могу умереть раньше ее, — заметил Спаланцо. — Но, клянусь богом, я выдал бы ее, если бы не был ее мужем!

Через неделю после этой беседы Спаланцо ходил по палубе корабля и бормотал:

— О, если бы она была мертвой! Живую я ее не выдам, нет! Но я выдал бы ее мертвой! Я обманул бы тех старых проклятых ворон и получил бы от них отпущение!

И глухой Спаланцо отравил свою бедную жену...

Труп Марии был отнесен Спаланцо в заседание судей и предан сожжению.

Спаланцо получил отпущение толедских грехов... Его простили за то, что он учился лечить людей и занимался наукой, которая впоследствии стала называться химией. Епископ похвалил его и подарил ему книгу собственного сочинения... В этой книге ученый епископ писал, что бесы чаще всего вселяются в женщин с черными волосами, потому что черные волосы имеют цвет бесов.

ИСПОВЕДЬ, или Оля, Женя, Зоя

(Письмо)

Вы, ma chère¹, мой дорогой, незабвенный друг, в своем милом письме спрашиваете меня между прочим, почему я до сих пор не женат, несмотря на свои 39 лет?

Моя дорогая! Я всей душой люблю семейную жизнь и не женат потому только, что каналье судьбе не угодно было, чтобы я женился. Жениться собирался я раз 15 и не женился потому, что все на этом свете, в особенности же моя жизнь, подчиняется случаю, все зависит от него! Случай — деспот. Привожу несколько случаев, благодаря которым я до сих пор влачу свою жизнь в презренном одиночестве...

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ

Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, как самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами по росистой траве. Река и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам... Мы шли по аллейке, усыпанной желтым песком, и счастливыми грудями вдыхали в себя ароматы июньского утра. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое, должно быть, очень хорошее, нежное... Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыном вашего исправника) покоилась на моей руке, и ее крошечный мизинчик дрожал на моем большом пальце.. Щечки ее горели, а глаза... О, ma chère, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах! Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки...

— Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятил я науке, — шептал я, боясь, чтобы ее мизинчик не сполз с моего большого пальца. — В будущем ожидает меня профессорская кафедра... На моей совести вопросы... научные... Жизнь трудовая, полная забот, высоких... как их... Ну, одним словом, я буду профессором... Я честен, Ольга Максимовна... Я не богат, но... Мне нужна подруга, которая бы своим присутствием (Оля сконфузилась и опустила глазки; мизинчик задрожал)... которая бы своим присутствием... Оля! взгляните на небо! Оно чисто... но и жизнь моя так же чиста, беспредельна...

¹ Моя милая (*франц.*).

Не успел мой язык выкарабкаться из этой чуши, как Оля подняла голову, рванула от меня свою руку и захлопала в ладоши. На встречу нам шли гуси и гусята. Оля подбежала к гусям и, звонко хохоча, протянула к ним свои ручки... О, что это были за ручки, *ma chère!*

— Тер... тер... тер... — заговорили гуси, поднимая шею и искоса поглядывая на Олю.

— Гуся, гуся, гуся! — закричала Оля и протянула руку за гусенком.

Гусенок был умен не по летам. Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку, и, по-видимому, пожаловался ему. Гусак растопырил крылья. Шалунья Оля потянулась за другим гусенком. В это время случилось нечто ужасное. Гусак пригнул шею к земле и, шипя, как змея, грозно зашагал к Оле. Оля взвизгнула и побежала назад. Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильнее и побледнела. Ее красивое девичье личико исказилось ужасом и отчаянием. Казалось, что за ней гналось триста чертей.

Я поспешил к ней на помощь и ударил по голове гусака тростью. Негодяю-гусаку удалось-таки ущипнуть ее за кончик платья. Оля с большими глазами, с искаженным лицом, дрожа всем телом, упала мне на грудь...

— Какая вы трусиха! — сказал я.

— Побейте гуску! — сказала она и заплакала...

Сколько не наивного, не детского, а идиотского было в этом испугавшемся личике! Не терплю, *ma chère*, малодушья! Не могу вообразить себя женатым на малодушной, трусливой женщине!

Гусак испортил все дело... Успокоивши Олю, я ушел домой, и малодушное до идиотства личико застряло в моей голове... Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался от нее.

СЛУЧАЙ ДРУГОЙ

Вы, конечно, знаете, мой друг, что я писатель. Боги зажгли в моей груди священный огонь, и я считаю себя не вправе не братья за перо. Я жрец Аполлона... Все до единого биения сердца моего, все вздохи мои, короче — всего себя я отдал на алтарь муз. Я пишу, пишу, пишу... Отнимите у меня перо — и я помер. Вы смеетесь, не верите... Клянусь, что так!

Но вы, конечно, знаете, *ma chère*, что земной шар — плохое место для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить в ней негде. Писатель — это вечный сирота, изгнанник, козел отпу-

щения, незащитное дитя... Человечество разделяю я на две части: на писателей и завистников. Первые пишут, а вторые умирают от зависти и строят разные пакости первым. Я погиб, погибаю и буду погибать от завистников. Они испортили мою жизнь. Они забрали в руки бразды правления в писательском деле, именуют себя редакторами, издателями и всеми силами стараются утопить нашу братию. Проклятие им!!

Слушайте...

Некоторое время я ухаживал за Женей Пшиковой. Вы, конечно, помните это милое, черноволосое, мечтательное дитя... Она теперь замужем за вашим соседом Карлом Ивановичем Ванце (à propos¹: по-немецки Ванце значит... клоп. Не говорите этого Жене, она обидится). Женя любила во мне писателя. Она так же глубоко, как и я, верила в мое назначение. Она жила моими надеждами. Но она была молода! Она не могла понимать еще упомянутого разделения человечества на две части! Она не верила в это разделение! Не верила, и мы в один прекрасный день... погибли.

Я жил на даче у Пшиковых. Меня считали женихом, Женю — невестой. Я писал, она читала. Что это за критик, ma chère! Она была справедлива, как Аристид, и строга, как Катон. Произведения свои посвящала ей... Одно из этих произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати. Я послал его в один из юмористических журналов. Послал первого июля и ответа ожидал через две недели. Наступило 15 июля. Мы с Женей получили желанный номер. Пospешно распечатали его и прочли в почтовом ящике ответ. Она покраснела, я побледнел. В почтовом ящике напечатано было по моему адресу следующее: «Село Шлендово. Г. М. Б-у. Таланта у вас ни капельки. Черт знает что нагородили! Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим».

Ну, и глупо... Сейчас видно, что дураки писали.

— Ммммммм... — промычала Женя.

— Как-кие мерр-зав-цы!!! — пробормотал я. — Каково? И вы, Евгения Марковна, станете теперь улыбаться моему разделению?

Женя задумалась и зевнула.

— Что ж? — сказала она. — Может быть, у вас и на самом таком деле нет таланта! Им это лучше знать. В прошлом году Федор Федосеевич со мной целое лето рыбу удил, а вы все пишете, пишете... Как это скучно!

Каково? И это после бессонных ночей, проведенных вместе

¹ Кстати (*франц.*).

над писаньем и читаньем! После обоюдного жертвоприношения музам... А?

Женя охладела к моему писательству, а следовательно, и ко мне. Мы разошлись. Иначе и быть не могло...

СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ

Вы, конечно, знаете, мой незабвенный друг, что я страшно люблю музыку. Музыка моя страсть, стихия... Имена Моцарта, Бетховена, Шопена, Мендельсона, Гуно — имена не людей, а гигантов! Я люблю классическую музыку. Оперетку я отрицаю, как отрицаю водевиль. Я один из постояннейших посетителей оперы. Хохлов, Кочетова, Барцал, Усатов, Корсов... дивные люди! Как я жалею, что я не знаком с певцами! Будь я знаком с ними, я в благодарностях излил бы пред ними свою душу. В прошлую зиму я особенно часто ходил на оперу. Ходил я не один, а с семейством Пепсиновых. Жаль, что вы не знакомы с этим милым семейством! Пепсиновы каждую зиму абонируют ложу. Они преданы музыке всей душой... Украшением этого милого семейства служит дочь полковника Пепсинова — Зоя. Что это за девушка, моя дорогая! Одни ее розовые губки способны свести с ума такого человека, как я! Стройна, красива, умна... Я любил ее... Любил бешено, страстно, ужасно! Кровь моя кипела, когда я сидел с нею рядом. Вы улыбаетесь, *ma chère*... Улыбайтесь! Вам незнакома, чужда любовь писателя... Любовь писателя — Этна плюс Везувий. Зоя любила меня. Ее глаза всегда покоились на моих глазах, которые постоянно были устремлены на ее глаза... Мы были счастливы. До свадьбы был один только шаг...

Но мы погибли.

Давали «Фауста». «Фауста», моя дорогая, написал Гуно, а Гуно — величайший музыкант. Идя в театр, я порешил дорогой объяснить с Зоей в любви во время первого действия, которого я не понимаю. Великий Гуно напрасно написал первое действие!

Спектакль начался. Я и Зоя уединились в фойе. Она сидела возле меня и, дрожа от ожидания и счастья, машинально играла веером. При вечернем освещении, *ma chère*, она прекрасна, ужасно прекрасна!

— Увертюра, — объяснялся я в любви, — навела меня на некоторые размышления, Зоя Егоровна... Столько чувства, столько... Слушаешь и жаждешь... Жаждешь чего-то такого и слушаешь...

Я икнул и продолжал:

— Чего-то такого особенного... Жаждешь неземного... Любви? Страсти? Да, должно быть... любви... (Я икнул.) Да, любви...

Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала веером. Я икнул. Терпеть не могу икоты!

— Зоя Егоровна! Скажите, умоляю вас! Вам знакомо это чувство? (Я икнул.) Зоя Егоровна! Я жду ответа!

— Я... я... вас не понимаю...

— На меня напала икота. Пройдет... Я говорю о том всеобъемлющем чувстве, которое... Черт знает что!

— Вы выпейте воды!

«Объяснюсь, да тогда уж и схожу в буфет», — подумал я и продолжал:

— Я скажу коротко, Зоя Егоровна... Вы, конечно, уж заметили...

Я икнул и с досады на икоту укусил себя за язык.

— Конечно, заметили... (Я икнул.) Вы меня знаете около года... Гм... Я честный человек, Зоя Егоровна! Я труженик! Я не богат, это правда, но...

Я икнул и вскочил.

— Вы выпейте воды! — посоветовала Зоя.

Я сделал несколько шагов около дивана, подавил себе пальцами горло и опять икнул. Ма chère, я был в ужаснейшем положении! Зоя поднялась и направилась к ложе. Я за ней. Впуская ее в ложу, я икнул и побежал в буфет. Выпил я воды стаканов пять, и икота как будто бы немножко утихла. Я выкурил папиросу и отправился в ложу. Брат Зои поднялся и уступил мне свое место, место около моей Зои. Я сел и тотчас же... икнул. Прошло минут пять — я икнул, икнул как-то особенно, с хрипом. Я поднялся и стал у дверей ложи. Лучше, ma chère, икать у дверей, чем над ухом любимой женщины! Икнул. Гимназист из соседней ложи посмотрел на меня и громко засмеялся... С каким наслаждением он, каналья, засмеялся! С каким наслаждением я оторвал бы ухо с корнем у этого молокососа-мерзавца! Смеется в то время, когда на сцене поют великого «Фауста»! Кошунство! Нет, ma chère, когда мы были детьми, мы были много лучше. Кляня дерзкого гимназиста, я еще раз икнул... В соседних ложах засмеялись.

— Bis! — прошипел гимназист.

— Черт знает что! — пробормотал полковник Пепсинов мне на ухо. — Могли бы и дома поикать, сударь!

Зоя покраснела. Я еще раз икнул и, бешено стиснув кулаки, выбежал из ложи. Начал я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу — и все икаю. Чего я только не ел, чего не пил! В начале четвертого акта я плюнул и уехал домой. Приехавши домой, я, как назло, перестал икать... Я ударил себя по затылку и воскликнул:

— Теперь можешь икать, освищенный жених! Нет, ты не освищенный! Ты не освистал себя, а... обьикал!

На другой день отправился я, по обыкновению, к Пепсиновым. Зоя не вышла обедать и велела передать мне, что видеться со мною по болезни не может, а Пепсинов тянул речь о том, что некоторые молодые люди не умеют держать себя прилично в обществе... Болван! Он не знает того, что органы, производящие икоту, не находятся в зависимости от волевых стимулов.

Стимул, *ma chère*, значит двигатель.

— Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас, — обратился ко мне Пепсинов после обеда, — за человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой? А? Что-с?

— Отдал бы... — пробормотал я.

— Напрасно-с!

Зоя для меня погибла. Она не сумела простить мне икоты. Я погиб.

Не описать ли вам еще и остальные 12 случаев?

Описал бы, но... довольно! Жилы надулись на моих висках, слезы брызжут, и ворочается печень... Братья писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое! Позвольте, *ma chère*, пожелать вам всего лучшего! Жму вашу руку и шлю поклон вашему Полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец... Хвала ему! Жаль только, что он пьет горькую (это не упрек, *ma chère*!). Будьте здоровы, *ma chère*, счастливы и не забывайте, что у вас есть покорнейший слуга

Макар Балдастов.

ЛЕТАЮЩИЕ ОСТРОВА

*Соч. Жюль Верна
Перевод А. Чехонте*

ГЛАВА I

РЕЧЬ

— ...Я кончил, джентльмены! — сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 009 тонн...

— Джентльмены! — проговорил тронутый мистер Лунд. — Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское тер-

пение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты и 14 секунд! Том Бекас, — обратился он к своему старому слуге, — разбудьте меня через пять минут. Я буду спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!!

— Слушаю, сэр! — сказал старый Том Бекас.

Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.

Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал все. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своею речью, был им вполне заслужен. В продолжение 40 часов он предлагал на рассмотрение господам джентльменам великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий! «*Просверление Луны колоссальным буровом*» — вот что служило предметом речи мистера Лунда!

ГЛАВА II

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 48 $\frac{1}{2}$ вершков роста, тонкий, как пика, и худой, как засушенная змея. Он был совершенно лыс. Одетый во все черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру.

— Идите за мной! — гробовым голосом произнес лысый джентльмен.

— Куда?

— Идите за мной, Джон Лунд!

— А если я не пойду?

— Тогда я буду принужден просверлить Луну раньше вас!

— В таком случае, сэр, я к вашим услугам.

— Ваш слуга последует за нами!

Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго.

— Сэр, — обратился Бекас к мистеру Лунду, — если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв!

Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись.

— С кем я имею честь смеяться, сэр? — спросил Лунд лысого джентльмена.

— Вы имеете честь идти, смеяться и говорить с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистического кружка, почетным попечителем школы коровьих акушеров в Саутгемптоне, подписчиком «Иллюстрированного беса», профессором желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Безымянной обсерватории, Вильямом Болваннусом. Я веду вас, сэр, в...

Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы...

— Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в 20 милях отсюда. Сэр! Мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас... Вы после сорокачасовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, приказанием. Да здравствует пауза!!! Я веду вас... Вы ничего не имеете против этого?

— Ничего, сэр! Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и...

— Я вам куплю новые сапоги.

— Благодарю вас, сэр.

Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваннусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение *«Существовала ли Луна до потопы? Если существовала, то почему же и она не утонула?»* При этом сочинении приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: *«Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время»*. В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей.

Между прочим там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах, где питался раками, тинной и яйцами крокодилов и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида «Riba». Воротившись из своего долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело посвятил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших, ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Об-

ладая тонким, дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии были известны только одному ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле, он был проглочен тремя крокодилами.

ГЛАВА III

ТАИНСТВЕННЫЕ ПЯТНА

Обсерватория, в которую ввел он Лунда и старого Тома Бекаса (*следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашел нужным не переводить*)... стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошел к телескопу и начал смотреть на Луну.

— Что вы там видите, сэр?

— Луну, сэр.

— А возле Луны что вы видите, мистер Лунд?

— Я имею честь видеть одну только Луну.

— А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле Луны?

— Черт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен! Что это за пятна?

— Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу узнать, что это за пятна! Я буду скоро там! Я иду к этим пятнам! Вы следуйте за мной!

— Ура! Да здравствуют пятна! — крикнули Джон Лунд и Том Бекас.

ГЛАВА IV

СКАНДАЛ НА НЕБЕ

Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на восемнадцати аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода¹. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета было совершено в ночь под 13-е марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала NWW

¹ Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пустяки. Без денег только жить невозможно. — *Примеч. переводчика.*

(следует скучнейшее описание куба и 18 аэростатов)... В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр¹ показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунда заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал -76.

— Как ваше здоровье, сэр? — прервал наконец молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.

— Благодарю вас, сэр! — отвечал тронутый Лунда. — Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?

— Он сидит теперь в углу, жует табак и старается походить на человека, женившегося сразу на десятирх.

— Ха, ха, ха, сэр Болваниус!

— Благодарю вас, сэр!

Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск... Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов, пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления, треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство.

Это была ужасная, единственная в истории вселенной минута!!

Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались.

— Где мы, сэр?

— В эфире.

— Гм... Если в эфире, то чем же мы дышать будем?

— А где сила вашей воли, сэр Лунда?

— Мистеры! — крикнул Бекас. — Честь имею объявить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх!

— Гм... Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения Земли... Нас тянет к себе наша цель! Ураа! Сэр Лунда, как ваше здоровье?

— Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху Землю, сэр!

— Это не Земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьемся о него!

Тррррах!!!!

¹ Такой инструмент есть. — *Примеч. переводчика.*

ГЛАВА V

ОСТРОВ КНЯЗЯ МЕЩЕРСКОГО

Первый пришел в чувство Том Бекас. Он протер глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.

— Где мы? — спросил Лунд.

— Вы на острове, принадлежащем к группе летающих! Ураа!

— Ураа! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!

Над островом летало еще несколько островов (*следует описание картины, понятной одним только англичанам*)... Пошли осматривать остров. Он был шириной... длиной... (*цифры и цифры... Бог с ними!*) Тому Бекасу удалось найти дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был необитаем. Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы...

— Сэр, посмотрите, что это такое? — обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток.

— Странно... Удивительно... Поразительно... — забормотал Болваниус.

Сверток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, писанными на одном из варварских языков, кажется, русском.

Как попали сюда эти сочинения?

— Прроклятие! — закричал мистер Болваниус. — Здесь были раньше нас?!? Кто мог быть здесь?!. Скажите — кто, кто? Прроклятие! Оооо! Размозжите, громы небесные, мои великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его сочинениями!

И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума.

ГЛАВА VI

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Урааа!! — кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив... Корабли поспешили убраться в открытое море. Черная масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно (*pesamment*) шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже откры-

тым. Волны бороздили его по всем направлениям... На середине залива барахтались три человека. То были безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять на лодки.

— Мы пятьдесят семь дней не ели! — пробормотал худой, как голодный художник, мистер Лунд и рассказал, в чем дело.

Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной полосы, был притянут Землей и утонул в Гаврском заливе...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении Луны. Ближе уже то время, когда Луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Бекас живет теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки: он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летающего острова семян от дерева, соком напоминающего русскую водку.

Сказки Мельпомены





ОН И ОНА

Они кочуют. Одному только Парижу дарят они месяцы, для Берлина же, Вены, Неаполя, Мадрида, Петербурга и других столиц они скупы. В Париже чувствуют они себя quasi-дома¹; для них Париж — столица, резиденция, остальная же Европа — скучная, бестолковая провинция, на которую можно смотреть только сквозь опущенные створы grand-hôtel'ей или с авансены. Они не стары, но успели уже побывать по два, по три раза во всех европейских столицах. Им уже надоела Европа, и они стали поговаривать о поездке в Америку и будут поговаривать до тех пор, пока их не убедят, что у нее не такой уж замечательный голос, чтобы стоило показывать его обоим полушариям.

Увидеть их трудно. На улицах их видеть нельзя, потому что они ездят в каретах, ездят, когда темно, вечером и ночью. До обеда они спят. Просыпаются же обыкновенно в плохом расположении духа и никого не принимают. Принимают они только иногда, в неопределенное время, за кулисами или садясь за ужин.

Ее можно видеть на карточках, которые продаются. Но на карточках она — красавица, а красавицей она никогда не была. Карточкам ее не верьте: она урод. Большинство видит ее, глядя на сцену. Но на сцене она неузнаваема. Белила, румяна, тушь и чужие волосы покрывают ее лицо, как маска. На концертах то же самое.

Играя Маргариту, она, двадцатисемилетняя, морщинистая, неповоротливая, с носом, покрытым веснушками, выглядывает стройной, хорошенькой, семнадцатилетней девочкой. На сцене она менее всего напоминает самое себя.

Коли хотите их видеть, приобретите право присутствовать на обедах, которые даются ей и которые иногда она сама дает перед отъездом из одной столицы в другую. Приобрести это право легко

¹ Как бы дома (*лат.*).

только на первый взгляд, добраться же до обеденного стола могут только люди избранные... К последним относятся господа рецензенты, пролазы, выдающие себя за рецензентов, туземные певцы, дирижеры и капелмейстеры, любители и ценители с зализанными лысынами, попавшие в театральные завсегдатаи и блюдолизы благодаря злату, серебру и родству. Обеды эти выходят не скучные, для человека наблюдающего интересные... Раза два стоит пообедать.

Известные (между обедающими много таких) едят и говорят. Поза их вольная: шея на один бок, голова на другой, один локоть — на столе. Старички даже ковыряют в зубах.

Газетчики занимают стулья, ближайšie к ее стулу. Они почти все пьяны и держат себя весьма развязно, как будто бы они знакомы с ней уже сто лет. Возьми они градусом выше, дело дошло бы до фамильярности. Они громко острят, пьют, перебивают друг друга (причем не забывают сказать: «pardon!»), произносят трескучие тосты и, видимо, не боятся сглушить; некоторые, джентльменски переваливаясь через угол стола, целуют ее ручку.

Выдающие себя за рецензентов менторски беседуют с любителями и ценителями. Любители и ценители молчат. Они завидуют газетчикам, блаженно улыбаются и пьют одно только красное, которое на этих обедах бывает особенно хорошо.

Она, царица обеда, одета простенько, но ужасно дорого. Крупный бриллиант выглядывает на шею из-под кружевной оборочки. На обеих руках — по массивному гладкому браслету. Прическа в высшей степени неопределенная: дамам — нравится, мужчинам — не нравится. Лицо ее сияет и льет на всю обедающую братию широчайшую улыбку. Она умеет улыбаться всем сразу, говорить сразу со всеми, мило кивать головой; кивок головы достается каждому обедающему. Посмотрите на ее лицо, и вам покажется, что вокруг нее сидят одни только друзья и что она к этим друзьям питает самое дружеское расположение. В конце обеда она кое-кому дарит свои карточки; сзади карточки она пишет тут же за столом имя и фамилию счастливого получателя и автограф. Говорит она, разумеется, по-французски, в конце же обеда и на других языках. По-английски и по-немецки она говорит плохо до смешного, но и эта плохость выходит у нее милой. Вообще она так мила, что вы надолго забываете, что она — урод.

А он? Он, *le mari d'elle*¹, сидит от нее за пять стульев, много пьет, много ест, много молчит, катает из хлеба шарики и перечитывает ярлыки на бутылках. Глядя на его фигуру, чувствуется, что ему нечего делать, скучно, лень, надоело...

¹ Ее муж (*франц.*).

Он белокур, с плешью, которая дорожками пробегает по его голове. Женщины, вино, бессонные ночи и таскание по белу свету бороздой проехали по его лицу и оставили глубокие морщины. Ему лет тридцать пять, не больше, но он старше на вид. Лицо как бы вымоченное в квасу. Глаза хорошие, но ленивые... Он когда-то не был уродом, но теперь урод. Ноги дугой, руки землистого цвета, шея волосистая. Благодаря этим кривым ногам и особенной странной походке его дразнят в Европе почему-то «коляской». В своем фраке напоминает он мокрую галку с сухим хвостом. Обедающие его не замечают. Он платит тем же.

Попадите вы на обед, глядите на них, на этих супругов, наблюдайте и скажите мне, что связало и что связывает этих двух людей.

Глядя на них, вы ответите (разумеется, приблизительно) так:

— Она — известная певица, он — только муж известной певицы, или, выражаясь закулисным термином, муж своей жены. Она зарабатывает до восьмидесяти тысяч в год на русские деньги, он ничего не делает, стало быть, у него есть время быть ее слугой. Ей нужен кассир и человек, который возился бы с антрепренерами, контрактами, договорами... Она знает с одной только аплодирующей публикой, до кассы же, до прозаической стороны своей деятельности она не снисходит, ей нет до нее дела. Следовательно, он ей нужен, нужен как прихвостень, слуга... Она прогнала бы его, если бы умела управляться сама. Он же, получая от нее солидное жалованье (она не знает цены деньгам!), как дважды два — четыре, обкрадывает ее заодно с горничными, сорит ее деньгами, кутит направо, быть может, даже прячет про черный день — и доволен своим положением, как червяк, забравшийся в хорошее яблоко. Он ушел бы от нее, если бы у нее не было денег.

Так думают и говорят все те, которые рассматривают их во время обедов. Думают так и говорят, потому что, не имея возможности проникнуть в глубь дела, могут судить только поверхностно. На нее глядят, как на диву, от него же сторонятся, как от пигмея, покрытого лягушечьею слизью; а между тем эта европейская дива связана с этим лягушонком завиднейшей, благороднейшей связью.

Вот что пишет он:

«Спрашивают меня, за что я люблю эту мегеру? Правда, эта женщина не стоит любви. Она не стоит и ненависти. Стоит она только того, чтобы на нее не обращали внимания, игнорировали ее существование. Чтобы любить ее, нужно быть или мной, или сумасшедшим, что, впрочем, одно и то же.

Она некрасива. Когда я женился на ней, она была уродом, а теперь и подавно. У нее нет лба; вместо бровей над глазами лежат две едва заметные полоски; вместо глаз у нее две неглубокие щели. В этих щелях ничего не светится: ни ума, ни желаний, ни стра-

сти. Нос — картофелью. Рот мал, красив, зато зубы ужасны. У нее нет груди и талии. Последний недостаток скрашивается, впрочем, ее чертовским умением как-то сверхъестественно искусно затягиваться в корсет. Она коротка и полна. Полнота ее обрюзглая. Еп masse¹, во всем ее теле есть недостаток, который я считаю najważнейшим, — это полное отсутствие женственности. Бледность кожи и мышечное бессилие я не считаю за женственность и в этом отношении расхожусь во взгляде с очень многими. Она не дама, не барыня, а лавочница с угловатыми манерами: ходит — руками машет, сидит, положив ногу на ногу, покачиваясь взад и вперед всем корпусом, лежит, подняв ноги, и т. д.

Она неряшлива. Особенно характерны в этом отношении ее чемоданы. В них чистое белье перемешано с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новые корсеты с изломанными. Мы никогда никого не принимаем, потому что в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок... Ах, да что говорить? Посмотрите на нее в полдень, когда она просыпается и лениво выползает из-под своего одеяла, и вы не узнаете в ней женщину с соловьиным голосом. Непричесанная, с перепутавшимися волосами, с заспанными, заплаканными глазами, в сорочке с продранными плечами, босая, косая, окутанная облаком вчерашнего табачного дыма — похожа ли она на соловья?

Она пьет. Пьет она, как гусар, когда угодно и что угодно. Пьет уже давно. Если бы она не пила, она была бы выше Патти и во всяком случае не ниже. Она пропила половину своей карьеры и очень скоро просить другую. Негодяи немцы научили ее пить пиво, и она теперь не ложится спать, не вышив на сон грядущий двух-трех бутылок. Если бы она не пила, у нее не было бы катара желудка.

Она невежлива, чему свидетели студенты, которые иногда приглашают ее на свои концерты.

Она любит рекламу. Реклама обходится нам ежегодно в несколько тысяч франков. Я всей душой презираю рекламу. Как бы ни была дорога эта глупая реклама, она всегда будет дешевле ее голоса. Жена любит, чтобы ее гладили по головке, не любит, чтобы о ней говорили правду, не похожую на похвалу. Для нее купленный Иудин поцелуй милее некупленной критики. Полное отсутствие сознания собственного достоинства!

Она умна, но ум ее недовоспитан. Мозги ее давно уже потеряли свою эластичность; они покрылись жиром и спят.

Она капризна, непостоянна, не имеет ни одного прочного убеждения. Вчера она говорила, что деньги — ерунда, что вся суть не в них, сегодня же она дает концерты в четырех местах,

¹ Вообще (*франц.*).

потому что пришла к убеждению, что на этом свете нет ничего выше денег. Завтра она скажет то, что говорила вчера. Она не хочет знать отечества, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов.

Она богата, но не помогает бедным. Мало того, она часто не доплачивает модисткам и парикмахерам. У нее нет сердца.

Тысячу раз испорченная женщина!

Но поглядите вы на эту мегеру, когда она, намазанная, зализанная, стянутая, приближается к рампе, чтобы начать соперничать с соловьями и жаворонком, приветствующим майскую зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой походке! Приглядитесь и будьте, умоляю вас, внимательны. Когда она впервые поднимает руку и раскрывает рот, ее щелочки превращаются в большие глаза и наполняются блеском и страстью... Нигде в другом месте вы не найдете таких чудных глаз. Когда она, моя жена, начинает петь, когда по воздуху пробегают первые трели, когда я начинаю чувствовать, что под влиянием этих чудных звуков стихает моя взбаламученная душа, тогда поглядите на мое лицо и вам откроется тайна моей любви.

— Не правда ли, она прекрасна? — спрашиваю я тогда своих соседей.

Они говорят «да», но мне мало этого. Мне хочется уничтожить того, кто мог бы подумать, что эта необыкновенная женщина не моя жена. Я все забываю, что было раньше, и живу только одним настоящим.

Посмотрите, какая она актриса! Сколько глубокого смысла кроется в каждом ее движении! Она понимает все: и любовь, и ненависть, и человеческую душу... Недаром театр дрожит от аплодисментов.

По окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную, изнеможенную, в один вечер пережившую целую жизнь. Я тоже бледен и изнурен. Мы садимся в карету и едем в отель. В отеле она молча, не раздеваясь, бросается в постель. Я молча сажусь на край кровати и целую ее руку. В этот вечер она не гонит меня от себя. Вместе мы и засыпаем, спим до утра и просыпаемся, чтобы послать к черту друг друга и...

Знаете, еще когда я люблю ее? Когда она присутствует на балах или обедах. И здесь я люблю в ней замечательную актрису. Какой, в самом деле, нужно быть актрисой, чтобы уметь перехитрить и пересилить свою природу так, как она умеет... Я не узнаю ее на этих глупых обедах... Из ошипанной утки она делает павлина...»

Это письмо написано пьяным, едва разборчивым почерком. Писано оно по-немецки и испещрено орфографическими ошибками.

Вот что пишет она:

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчику? Да, иногда... За что? Бог знает...

Правда, он некрасив и несимпатичен. Такие, как он, не рождены для того, чтобы иметь право на взаимную любовь. Такие, как он, могут только покупать любовь, даром же она им не дается. Судите сами.

Он день и ночь пьян как сапожник. Руки его трясутся, что очень некрасиво. Когда он пьян, он брюзжит и дерется. Он бьет и меня. Когда он трезв, он лежит на чем попало и молчит.

Он вечно оборван, хотя и не имеет недостатка в деньгах на платье. Половина моих сборов проскальзывает, неизвестно куда, сквозь его руки.

Никак не соберусь проконтролировать его. У несчастных замужних артисток ужасно дороги кассиры. Мужья получают за свои труды полкаппы.

Тратит он не на женщин, я это знаю. Он презирает женщин.

Он — лентяй. Я не видала, чтобы он делал когда-нибудь что-нибудь. Он пьет, ест, спит — и только.

Он нигде не кончил курса. Его исключили из первого курса университета за дерзости.

Он не дворянин и, что ужаснее всего, немец.

Я не люблю господ немцев. На сто немцев приходится девяносто девять идиотов и один гений. Последнее я узнала от одного принца, немца на французской подкладке.

Он курит отвратительный табак.

Но у него есть хорошие стороны. Он более меня любит мое благородное искусство. Когда перед началом спектакля объявляют, что я по болезни петь не могу, т. е. капризничаю, он ходит как убитый и сжимает кулаки.

Он не трус и не боится людей. Это я люблю в людях больше всего. Я расскажу вам маленький эпизодик из моей жизни. Дело было в Париже, год спустя по выходе моем из консерватории. Я была тогда еще очень молода и училась пить. Кутила я каждый вечер, насколько хватало у меня моих молодых сил. Кутила я, разумеется, в компании. В один из таких кутежей, когда я чокалась со своими знатными почитателями, к столу подошел очень некрасивый и не знакомый мне мальчик и, глядя мне прямо в глаза, спросил:

— Для чего вы пьете?

Мы захохотали. Мой мальчик не смутился.

Второй вопрос был более дерзок и вылетел прямо из души:

— Чего вы смеетесь? Негодяи, которые спаивают вас теперь вином, не дадут вам ни гроша, когда вы пропьете голос и станете нищей!

Какова дерзость? Компания моя зашумела. Я же посадила маль-

чика возле себя и приказала подать ему вина. Оказалось, что поборник трезвости прекрасно пьет вино. А гророс¹: мальчиком я называю его только потому, что у него очень маленькие усы.

За его дерзость я заплатила браком с ним.

Он больше молчит. Чаще всего говорит он одно слово. Это слово говорит он грудным голосом, с дрожью в горле, с судорогой на лице. Это слово случается произносить ему, когда он сидит среди людей, на обеде, на балу... Когда кто-нибудь (кто бы то ни было) скажет ложь, он поднимает голову и, не глядя ни на что, не смущаясь, говорит:

— Неправда!

Это его любимое слово. Какая женщина устоит против блеска глаз, с которым произносится это слово? Я люблю это слово, и этот блеск, и эту судорогу на лице. Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово, а муж мой произносит его везде и всегда. Я люблю его иногда, и это «иногда», насколько я помню, совпадает с произнесением этого хорошего слова. Впрочем, бог знает, за что я его люблю. Я плохой психолог, а в данном случае затронут, кажется, психологический вопрос...»

Это письмо писано по-французски, прекрасным, почти мужским почерком. В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки.

ДВА СКАНДАЛА

— Стойте, черт вас возьми! Если эти козлы-тенора не перестанут рознить, то я уйду! Глядеть в ноты, рыжая! Вы, рыжая, третья с правой стороны! Я с вами говорю! Если не умеете петь, то за каким чертом вы лезете на сцену со своим вороньим карканьем? Начинайте сначала!

Так кричал он и трещал по партитуре своей дирижерской палочкой. Этим косматым господам дирижерам многое прощается. Да иначе и нельзя. Ведь если он посылает к черту, бранится и рвет на себе волосы, то этим самым он заступает за святое искусство, с которым никто не смеет шутить. Он стоит настороже, а не будь его, кто бы не пускал в воздух этих отвратительных полутонов, которые то и дело расстраивают и убивают гармонию? Он бережет эту гармонию и за нее готов повесить весь свет и сам повеситься. На него нельзя сердиться. Заступайся он за себя, ну тогда другое дело!

Большая часть его желчи, горькой, пенящейся, доставалась на долю рыжей девочки, стоявшей третьей с правого фланга. Он го-

¹ Кстати (*франц.*).

тов был проглотить ее, провалить сквозь землю, поломать и выбросить в окно. Она рознила больше всех, и он ненавидел и презирал ее, рыжую, больше всех на свете. Если б она провалилась сквозь землю, умерла тут же на его глазах, если бы запачканный ламповщик зажег ее вместо лампы или побил ее публично, он захотел бы от счастья.

— А, черт вас возьми! Поймите же, наконец, что вы столько же смыслите в пении и музыке, как я в китоловстве! Я с вами говорю, рыжая! Растолкуйте ей, что там не «фа диэз», а просто «фа»! Поучите этого неуча нотам! Ну, пойте одна! Начинайте! Вторая скрипка, убирайтесь вы к черту с вашим неподмазанным смычком!

Она, восемнадцатилетняя девочка, стояла, глядела в ноты и дрожала, как струна, которую сильно дернули пальцем. Ее маленькое лицо то и дело вспыхивало, как зарево. На глазах блестели слезы, готовые каждую минуту закапать на музыкальные значки с черными булавочными головками. Если бы шелковые золотистые волосы, которые водопадом падали на ее плечи и спину, скрыли ее лицо от людей, она была бы счастлива.

Ее грудь вздымалась под корсажем, как волна. Там, под корсажем и грудью, происходила страшная возня: тоска, угрызения совести, презрение к самой себе, страх... Бедная девочка чувствовала себя виноватой, и совесть исцарапала все ее внутренности. Она виновата перед искусством, дирижером, товарищами, оркестром и, наверное, будет виновата и перед публикой... Если ее ошикают, то будут тысячу раз правы. Глаза ее боялись глядеть на людей, но она чувствовала, что на нее глядят все с ненавистью и презрением... В особенности он! Он готов швырнуть ее на край света, подальше от своих музыкальных ушей.

«Боже, прикажи мне петь как следует!» — думала она, и в ее сильном дрожащем сопрано слышалась отчаянная нотка.

Он не хотел понять этой нотки, а бранился и хватал себя за длинные волосы. Плевать ему на страдания, если вечером спектакль!

— Это из рук вон! Эта девчонка готова сегодня резать меня своим козлиным голосом! Вы не примадонна, а прачка! Возьмите у рыжей ноты!

Она рада бы петь хорошо, не фальшивить... Она и умела не фальшивить, была мастером своего дела. Но разве виновата она была, что ее глаза не повиновались ей? Они, эти красивые, но недобросовестные глаза, которые она будет проклинать до самой смерти, они, вместо того чтобы глядеть в ноты и следить за движениями его палочки, смотрели в волосы и в глаза дирижера... Ее глазам нравились всклокоченные волосы и дирижерские глаза, из которых сыпались на нее искры и в которые страшно смотреть.

Бедная девочка без памяти любила лицо, по которому бегали тучи и молнии. Разве виновата она была, что ее маленький ум, вместо того чтобы утонуть в репетиции, думал о посторонних вещах, которые мешают дело делать, жить, быть покойной...

Глаза ее устремлялись в ноты, с нот они перебежали на его палочку, с палочки на его белый галстук, подбородок, усики и так далее...

— Возьмите у нее ноты! Она больна! — крикнул наконец он. — Я не продолжаю!

— Да, я больна, — прошептала покорно она, готовая просить тысячу извинений...

Ее отпустили домой, и ее место в спектакле было занято другой, у которой хуже голос, но которая умеет критически относиться к своему делу, работать честно, добросовестно, не думая о белом галстуке и усиках.

И дома он не давал ей покоя. Приехав из театра, она упала на постель. Спрятав голову под подушку, она видела во мраке своих закрытых глаз его физиономию, искаженную гневом, и ей казалось, что он бьет ее по вискам своей палочкой. Этот дерзкий был ее первой любовью!

И первый блин вышел комом.

На другой день после репетиции к ней приезжали ее товарищи по искусству, чтобы осведомиться об ее здоровье. В газетах и на афишах было напечатано, что она заболела. Приезжал директор театра, режиссер, и каждый засвидетельствовал ей свое почтительное участие. Приезжал и он.

Когда он не стоит во главе оркестра и не глядит на свою партию, он совсем другой человек. Тогда он вежлив, любезен и почтителен, как мальчик. По лицу его разлита почтительная, сладенькая улыбочка. Он не только не посылает к черту, но даже боится в присутствии дам курить и класть ногу на ногу. Тогда добрей и порядочней его трудно найти человека.

Он приехал с очень озабоченным лицом и сказал ей, что ее болезнь — большое несчастье для искусства, что все ее товарищи и он сам готовы все отдать для того только, чтобы «notre petit rossignol»¹ был здоров и покоен. О, эти болезни! Они многое отняли у искусства. Нужно сказать директору, что если на сцене будет по-прежнему сквозной ветер, то никто не согласится служить, всякий уйдет. Здоровье дороже всего на свете! Он с чувством пожал ее ручку, искренно вздохнул, попросил позволения побывать у нее еще раз и уехал, проклиная болезни.

Славный малый! Но зато, когда она сказала здоровой и пожа-

¹ Наш маленький соловей (*франц.*).

ловала на сцену, он опять послал ее к «самому черному» черту, и опять по лицу его забегали молнии.

В сущности он очень порядочный человек. Она стояла однажды за кулисами и, опершись о розовый куст с деревянными цветами, следила за его движениями. Дух ее захватывало от восторга при виде этого человека. Он стоял за кулисами и, громко хохоча, пил с Мефистофелем и Валентином шампанское. Остроты так и сыпались из его рта, привыкшего посылать к черту. Выпивши три стакана, он отошел от певцов и направился к выходу в оркестр, где уже настраивались скрипки и виолончели. Он прошел мимо нее, улыбаясь, сияя и махая руками. Лицо его горело довольством. Кто осмелится сказать, что он плохой дирижер? Никто! Она покраснела и улыбнулась ему. Он, пьяный, остановился около нее и заговорил:

— Я раскис... — сказал он. — Боже мой! Мне так хорошо сегодня! Ха! ха! Вы сегодня все такие хорошие! У вас чудные волосы! Боже мой, неужели я до сих пор не замечал, что у этого соловья такая чудная грива?

Он нагнулся и поцеловал ее плечо, на котором лежали волосы.

— Я раскис через это проклятое вино... Мой милый соловей, ведь мы не будем больше ошибаться? Будем со вниманием петь? Зачем вы так часто фальшивите? С вами этого не было прежде, золотая головка!

Дирижер совсем раскис и поцеловал ее руку. Она тоже заговорила...

— Не браните меня... Ведь я... я... Вы меня убиваете своей бранью... Я не перенесу... Клянусь вам!

И слезы навернулись на ее глазах. Она, сама того не замечая, оперлась о его локоть и почти повисла на нем.

— Ведь вы не знаете... Вы такой злой. Клянусь вам...

Он сел на куст и чуть не свалился с него... Чтобы не свалиться, он ухватился за ее талию.

— Звонок, моя крошка. До следующего антракта!

После спектакля она ехала домой не одна. С ней ехал пьяный, хохочущий от счастья, раскисший *он*! Как она счастлива! Боже мой! Она ехала, чувствовала его объятия и не верила своему счастью. Ей казалось, что жжет судьба! Но как бы там ни было, а целую неделю публика читала в афише, что дирижер и его *она* больны... Он не выходил от нее целую неделю, и эта неделя показалась обоим минутой. Девочка отпустила его от себя только тогда, когда уж неловко было скрываться от людей и ничего не делать.

— Нужно проветрить нашу любовь, — сказал дирижер на седьмой день. — Я соскучился без своего оркестра.

На восьмой день он уже махал палочкой и посылал к черту всех, не исключая даже и «рыжей».

Эти женщины любят, как кошки. Моя героиня, сошедшись и начавши жить со своим пугалом, не отказалась от своих глупых привычек. Она по-прежнему, вместо того чтобы глядеть в ноты и на палочку, глядела на его галстух и лицо... На репетициях и во время спектакля она то и дело фальшивила и еще в большей степени, чем прежде. Зато же и бранил он ее! Прежде бранил он ее только на репетициях, теперь же мог это делать и дома, после спектакля, стоя перед ее постелью. Сентиментальная девчонка! Достаточно ей было, когда она пела, взглянуть на любимое лицо, чтобы отстать на целых четверть такта или вздрогнуть голосом. Когда она пела, она глядела на него со сцены, когда же не пела, она стояла за кулисами и не отрывала глаз от его длинной фигуры. Во время антракта они сходились в уборной, где оба пили шампанское и смеялись над ее поклонниками. Когда оркестр играл увертюру, она стояла на сцене и глядела на него в маленькое отверстие в занавесе. В это отверстие актеры смеются над плешью первого ряда и по количеству видимых голов определяют величину сбора.

Отверстие в занавесе погубило ее счастье. Случился скандал.

В одну масленицу, когда театр бывает наименее пуст, давали «Гугенотов». Когда дирижер перед началом пробирался между пропитрами к своему месту, она стояла уже у занавеса и с жадностью, с замиранием сердца глядела в отверстие.

Он построил кисло-серьезную физиономию и замахал во все стороны своей палочкой. Заиграли увертюру. Красивое лицо его сначала было относительно покойно... Потом же, когда увертюра близилась к середине, по его правой щеке забегали молнии и правый глаз прищурился. Беспорядок слышался справа: там сфальшивила флейта и не вовремя закашлял фагот. Кашель может помешать начать вовремя. Потом покраснела и задвигалась левая щека. Сколько движения и огня в этом лице! Она глядела на него и чувствовала себя на седьмом небе, наверху блаженства.

— Виолончель к чертям! — пробормотал он сквозь зубы быстро, чуть слышно.

Эта виолончель знает ноты, но не хочет знать души! Можно ли поручать этот нежный и мягкозвучный инструмент людям, не умеющим чувствовать? По всему лицу дирижера забегали судороги, и свободная рука вцепилась в пропитр, точно пропитр виноват в том, что толстый виолончелист играет только ради денег, а не потому, что этого хочется его душе!

— Долой со сцены! — послышалось где-то вблизи...

Вдруг лицо дирижера просияло и засветилось счастьем. Губы его улыбнулись. Одно из трудных мест было пройдено первыми скрипками более чем блистательно. Это приятно дирижерскому сердцу. У моей рыжеволосой героини стало на душе тоже прият-

но, как будто бы она играла на первых скрипках или имела дирижерское сердце. Но это сердце было не дирижерское, хотя и сидел в нем дирижер. «Рыжая чертовка», глядя на улыбающееся лицо, сама заулыбалась... но не время было улыбаться. Случилось нечто сверхъестественное и ужасно глупое...

Отверстие вдруг исчезло перед ее глазом. Куда оно девалось? Наверху что-то зашумело, точно подул ровный ветер... По ее лицу что-то поползло вверх... Что случилось? Она начала глазом искать отверстие, чтобы увидеть любимое лицо, но вместо отверстия она увидела вдруг целую массу света, высокую и глубокую... В массе света замелькало бесчисленное множество огней и голов, и между этими разнообразными головами она увидела дирижерскую голову... Дирижерская голова посмотрела на нее и замерла от изумления... Потом изумление уступило место невыразимому ужасу и отчаянию... Она, сама того не замечая, сделала полшага к рампе... Из второго яруса послышался смех, и скоро весь театр утонул в нескончаемом смехе и шиканье. Черт возьми! На «Гугенотах» будет петь барыня в перчатках, шляпе и платье самого новейшего времени!..

— Ха-ха-ха!

В первом ряду задвигались смеющиеся плечи... Поднялся шум... А его лицо стало старо и морщинисто, как лицо Эзопа! Оно дышало ненавистью, проклятиями... Он топнул ногой и бросил под ноги свою дирижерскую палочку, которую он не променяет на фельдмаршальский жезл. Оркестр секунду понес чепуху и умолк... Она отступила назад и, пошатываясь, поглядела в сторону... В стороне были кулисы, из-за которых смотрели на нее бледные, злобные рыла... Эти звериные рыла шипели...

— Вы губите нас! — шипел антрепренер...

Занавес пополз вниз медленно, волнуясь, нерешительно, точно его спустили не туда, куда нужно... Она зашаталась и оперлась о кулису...

— Вы губите меня, развратная, сумасшедшая... о, чтобы черт тебя забрал, отвратительнейшая гадина!

Это говорил голос, который час тому назад, когда она собиралась в театр, шептал ей: «Тебя нельзя не любить, моя крошка! Ты мой добрый гений! Твой поцелуй стоит магометова рая!» А теперь? Она погибла, честное слово, погибла!

Когда порядок в театре был водворен и взбешенный дирижер принялся во второй раз за увертюру, она была уже у себя дома. Она быстро разделась и прыгнула под одеяло. Лежа не так страшно умирать, как стоя или сидя, а она была уверена, что угрызения совести и тоска убьют ее... Она спрятала голову под подушку и, дрожа, боясь думать и задыхаясь от стыда, завертелась под оде-

ялом... От одеяла пахло сигарами, которые курил он... Что-то он скажет, когда придет?

В третьем часу ночи пришел он. Дирижер был пьян. Он напился с горя и от бешенства. Ноги его подгибались, а руки и губы дрожали, как листья при слабом ветре. Он, не скидая шубы и шапки, подошел к постели и постоял минуту молча. Она притаила дыхание.

— Мы можем спать покойно после того, как осрамилась на весь свет! — прошипел он. — Мы, истинные артисты, умеем мириться со своею совестью! Истинная артистка! Ха! ха! Ведьма!

Он сдернул с нее одеяло и швырнул его к камину.

— Знаешь, что ты сделала? Ты посмеялась надо мной, чтоб черт забрал тебя! Ты знаешь это? Или ты не знаешь? Вставай!

Он рванул ее за руку. Она села на край кровати и спрятала свое лицо за спутавшимися волосами. Плечи ее дрожали.

— Прости меня!

— Ха! ха! Рыжая!

Он рванул ее за сорочку и увидел белое, как снег, чудное плечо. Но ему было не до плеч.

— Вон из моего дома! Одевайся! Ты отравила мою жизнь, ничтожная!

Она пошла к стулу, на котором беспорядочной кучей лежало ее платье, и начала одеваться. Она отравила его жизнь! Подло и гнусно с ее стороны отравлять жизнь этого великого человека! Она уйдет, чтобы не продолжать этой подлости. И без нее есть кому отравлять жизни...

— Вон отсюда! Сейчас же!

Он бросил ей в лицо кофточку и заскрежетал зубами. Она оделась и встала около двери. Он замолчал. Но недолго продолжалось молчание. Дирижер, покачиваясь, указал ей на дверь. Она вышла в переднюю. Он отворил дверь на улицу.

— Прочь, мерзкая!

И, взяв ее за маленькую спину, он вытолкал ее...

— Прощай! — прошептала она кающим голосом и исчезла в темноте.

А было туманно и холодно... С неба моросил мелкий дождь...

— К черту! — крикнул ей вслед дирижер и, не прислушиваясь к ее шлепанью по грязи, запер дверь. Выгнав подругу в холодный туман, он улегся в теплую постель и захрапел.

— Так ей и следует! — сказал он утром, проснувшись, но... он лгал! Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его сердце. Неделю ходил он, как полупьяный, страдая, поджидая ее и терзаясь неизвестностью. Он думал, что она придет, верил в это... Но она не пришла. Отравление человека, которого она любит больше жизни, не входит в ее программу. Ее вы-

черкнули из списка артисток театра за «неприличное поведение». Ей не простили скандала. Об отставке ей не было сообщено, потому что никто не знал, куда она исчезла. Не знали ничего, но предполагали многое...

— Она замерзла или утопилась! — предполагал дирижер.

Через полгода забыли о ней. Забыл о ней и дирижер. На совети каждого красивого артиста много женщин, и, чтобы помнить каждую, нужно иметь слишком большую память.

Все наказывается на этом свете, если верить добродетельным и благочестивым людям. Был ли наказан дирижер?

Да, был.

Пять лет спустя дирижер проезжал через город X. В X. прекрасная опера, и он остался в нем на день, чтобы познакомиться с ее составом. Остановился он в лучшем Hôtel'e и в первое же утро после приезда получил письмо, которое ясно показывает, какою популярностью пользовался мой длинноволосый герой. В письме просили его продирижировать «Фауста». Дирижер Н. внезапно заболел, и дирижерская палочка вакантна. Не пожелает ли он, мой герой (просили его в письме), взять на себя труд воспользоваться случаем и угостить своим искусством музыкальнейших обывателей города X.? Мой герой согласился.

Он взялся за палочку, и «чужие» музыканты увидели лицо с молниями и тучами. Молний было много. И немудрено: репетиций не было, и пришлось начинать блистать своим искусством прямо со спектакля.

Первое действие прошло благополучно. То же случилось и со вторым. Но во время третьего произошел маленький скандал. Дирижер не имеет привычки смотреть на сцену или куда бы то ни было. Все его внимание обращено на партитуру.

Когда в третьем действии Маргарита, прекрасное, сильное сопрано, запела за прялкой свою песню, он улыбнулся от удовольствия: барыня пела прелестно. Но когда же эта самая барыня опоздала на осьмую такта, по лицу его пробежали молнии, и он с ненавистью поглядел на сцену. Но шах и мат молниям! Рот широко раскрылся от изумления, и глаза стали большими, как у теленка.

На сцене за прялкой сидела та рыжая, которую он когда-то выгнал из теплой постели и толкнул в темный, холодный туман. За прялкой сидела она, рыжая, но уже не совсем такая, какую он выгнал, а другая. Лицо было прежнее, но голос и тело не те. Тот и другое были изящнее, грациознее и смелее в своих движениях.

Дирижер разинул рот и побледнел. Палочка его нервно задвигалась, беспорядочно заболталась на одном месте и замерла в одном положении...

— Это она! — сказал он вслух и засмеялся.

Удивление, восторг и беспредельная радость овладели его душой. Его рыжая, которую он выгнал, не пропала, а стала великаном. Это приятно для его дирижерского сердца. Одним светилом больше, и искусство в его лице захлебывается от радости!

— Это она! Она!

Палочка замерла в одном положении, и, когда он, желая поправить дело, махнул ею, она выпала из его рук и застучала по полу... Первая скрипка с удивлением поглядела на него и нагнулась за палочкой. Виолончель подумала, что с дирижером дурно, замолкла и опять начала, но невпопад... Звуки завертелись, закружились в воздухе и, нища выхода из беспорядка, затянули возмутительную резь...

Она, рыжая Маргарита, вскочила и гневным взором измерила «этих пьяниц», которые... Она побледнела, и глаза ее забегали по дирижеру...

А публика, которой нет ни до чего дела, которая заплатила свои деньги, затрещала и засвистала...

К довершению скандала Маргарита взвизгнула на весь театр и, подняв вверх руки, подалась всем телом к рампе... Она узнала его и теперь ничего не видела, кроме молний и туч, опять появившихся на его лице.

— А, проклятая гадина! — крикнул он и ударил кулаком по партитуре.

Что сказал бы Гуно, если бы видел, как издеваются над его творением! О, Гуно убил бы его и был бы прав!

Он ошибся первый раз в жизни, и той ошибки, того скандала не простил он себе.

Он выбежал из театра с окровавленной нижней губой и, прибежав к себе в отель, заперся. Запершись, просидел он три дня и три ночи, занимаясь самосозерцанием и самобичеванием.

Музыканты рассказывают, что он поседел в эти трое суток и выдернул из своей головы половину волос...

— Я оскорбил ее! — плачет он теперь, когда бывает пьян. — Я испортил ее партию! Я — не дирижер!

Отчего же он не говорил ничего подобного после того, как выгнал ее?

БАРОН

Барон — маленький, худенький старикашка лет шестидесяти. Его шея дает с позвоночником тупой угол, который скоро станет прямым. У него большая угловатая голова, кислые глаза, нос шишкой и лиловатый подбородок. По всему лицу его разлита слабая синюха, вероятно, потому, что спирт стоит в том шкафу, который редко запирается бутафором. Впрочем, кроме казенного спирта, барон употребляет иногда и шампанское, которое можно

найти очень часто в уборных, на донышках бутылок и стаканов. Его щеки и мешочки под глазами висят и дрожат, как тряпочки, повешенные для просушки. На лысине зеленоватый налет от зеленой подкладки ушастой меховой шапки, которую барон, когда не носит на голове, вешает на испортившийся газовый рожок за третьей кулисой. Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести. Коричневый сюртук без пуговиц, с лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся в бахрому, — замечательный сюртук. Он болтается на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но... что ж из этого следует? Зато он облакал когда-то гениальное тело величайшего из комиков. Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, но нельзя же бросить ее, если она найдена в том номере, в котором жил могучий Сальвини! Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста; следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая. Галстук, греющий шею барона, не менее замечательный галстук. Им можно похвастать, хотя и следовало бы его в чисто гигиенических и эстетических видах заменить другим, более прочным и менее засаленным. Он выкроен из останков того великого плаща, которым покрывал когда-то свои плечи Эрнесто Росси, беседуя в «Макбете» с ведьмами.

— От моего галстука пахнет кровью короля Дункана! — говорит часто барон, ища в своем галстуке паразитов.

Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16.

Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы сапоги были целей и чтобы не простудить своих ревматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской будки.

Барона можно видеть только в трех местах: в кассе, в суфлерской будке и за сценой в мужской уборной. Вне этих мест он не существует и едва ли мыслим. В кассе он ночью ночует, а днем записывает фамилии покупающих логи и играет с кассиром в шапки. Старый и золотушный кассир — единственный человек, который слушает барона и отвечает на его вопросы. В суфлерской будке барон исполняет свои священные обязанности; там он зарабатывает себе кусок насущного хлеба. Эта будка выкрашена в блестящий, белый цвет только снаружи; внутри же стенки ее покрыты паутиной, щелями и занозами. В ней пахнет сыростью,

копченной рыбой и спиртом. В антрактах барон торчит в мужской уборной. Новички, первый раз входящие в эту уборную, увидев барона, хохочут и аплодируют. Они принимают его за актера.

— Браво, браво! — говорят они. — Вы прелестно загримировались! Какая у вас смешная рожица! А где вы достали такой оригинальный костюм?

Бедный барон! Люди не могут допустить, что он имеет собственную физиономию!

В уборной он наслаждается созерцанием светил или же, если нет светил, осмеливается вставлять в чужие речи свои замечания, которых у него очень много. Замечаний его никто не слушает, потому что они всем надоели и попахивают рутинной; их пускают мимо ушей без всяких церемоний. С бароном вообще не любят церемониться. Если он вертится перед носом и мешает, ему говорят: уберите! Если он шепчет из своей будки слишком тихо или слишком громко, его посылают к черту и грозят ему штрафом или отставкой. Он служит мишенью для большинства закулисных острот и каламбуров. На нем смело можно пробовать свое остроумие: он не ответит.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как его начали дразнить «бароном», но за все эти двадцать лет он ни разу не протестовал против этого прозвища.

Заставить его переписать роль и не заплатить ему — тоже можно. Все можно! Он улыбается, извиняется и конфузится, когда наступают ему на ногу. Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаясь вам честным словом, он не пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно *jeune premier*¹, он только замигает глазками и покраснеет. Такова сила его забитости и смирения! Его никто не уважает. Пока он жив, его выносят, когда же умрет, его забудут немедленно. Жалкое он создание!

А между тем было когда-то время, когда он чуть было не сделался товарищем и братом людей, которым он поклонялся и которых любил больше жизни. (Он не мог не любить людей, которые бывают иногда Гамлетами и Францами Моор!) Он сам едва не стал артистом и, наверное, стал бы им, если бы не помешал ему один смешной пустяк. Таланта было много, желания — тоже, была на первых порах и протекция, но не хватило пустяка: смелости. Ему вечно казалось, что *они*, эти головы, которыми усеяны все пять ярусов, низ и верх, захохочут и зашикают, если он позволит себе показаться на сцене. Он бледнел, краснел и немел от ужаса, когда предлагали ему подебютировать.

¹ Первый любовник (*франц.*).

— Я подожду немного, — говорил он.

И он ждал до тех пор, пока не состарился, не разорился и не понал, по протекции, в суфлерскую будку.

Он стал суфлером, но это не беда. Теперь уж его не выгонят из театра за неимение билета: он должностное лицо. Он сидит впереди первого ряда, видит лучше всех и не платит за свое место ни копейки. Это хорошо. Он счастлив и доволен.

Обязанность свою исполняет он прекрасно. Перед спектаклем он несколько раз прочитывает пьесу, чтобы не ошибиться, а когда бьет первый звонок, он уже сидит в будке и перелистывает свою книжку. Усердней его трудно найти кого-либо во всем театре.

Но все-таки нужно выгнать его из театра.

Беспорядки не должны быть терпимы в театре, а барон производит иногда страшные беспорядки. Он скандалист.

Когда на сцене играют особенно хорошо, он отрывает глаза от своей книжки и перестает шептать. Очень часто он прерывает свое чтение криками: браво! превосходно! — и позволяет себе аплодировать в то время, когда не аплодирует публика. Раз даже он шикал, за что чуть было не потерял места.

Вообще поглядите на него, когда он сидит в своей вонючей будке и шепчет. Он краснеет, бледнеет, жестикулирует руками, шепчет громче, чем следует, задыхается. Иногда бывает его слышно даже в коридорах, где около платья зевают капельдинеры. Он позволяет себе даже браниться из будки и подавать актеру советы.

— Правую руку вверх! — шепчет он часто. — У вас горячие слова, но лицо — лед! Это не ваша роль! Вы молокосос для этой роли! Вы бы поглядели в этой роли Эрнесто Росси! К чему же шарж? О, боже мой! Он все испортил своей мещанской манерой!

И подобные вещи шепчет он, вместо того чтобы шептать по книжке. Напрасно терпят этого чудака. Если бы его выгнали, то публике не пришлось бы быть свидетельницей скандала, который произошел на этих днях.

Скандал состоял в следующем.

Давали «Гамлета». Театр был полон. В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад. Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами... Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает запирать бутяфор. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников, послезавтра Гамлета! Сорок лет штудирует он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и

который дал лавровый венец не одному только Шекспиру. Сорок лет он штудирует, страдает, сгорает от мечты... Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра... Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройтись по сцене в принцевой куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места,

Сама собой, готова довести
К отчаянью, когда посмотришь в бездну
И слышишь в ней далекий плеск волны.

Если даже мечты заставляют таять не по дням, а по часам, то каким огнем сгорел бы лысый барон, если бы мечта приняла форму действительности!

В описываемый вечер он готов был проглотить весь свет от зависти и злости. Гамлета дали играть мальчишке, говорящему жидким тенором, а главное — рыжему. Неужели Гамлет был рыж?

Барон сидел в своей будке, как на горячих угляях. Когда Гамлета не было на сцене, он был еще относительно покоен, когда же на сцену появлялся жидкий рыжеволосый тенор, он начинал вертеться, метаться, ныть. Шепот его походил больше на стон, чем на чтение. Руки его тряслись, страницы путались, подсвечники ставились то ближе, то дальше... Он впивался в лицо Гамлета и переставал шептать... Ему страстно хотелось повыщипать из рыжей головы все волосы до единого. Пусть Гамлет будет лучше лыс, чем рыж! Шарж — так шарж, черт возьми!

Во втором действии он уж вовсе не шептал, а злобно хихикал, бранился и шикал. К его счастью, актеры хорошо знали свои роли и не замечали его молчания.

— Хорош Гамлет! — бранился он. — Нечего сказать! Ха-ха! Господа юнкера не знают своего места! Им следует за швейками бегать, а не на сцене играть! Если бы у Гамлета было такое глупое лицо, то едва ли Шекспир написал бы свою трагедию!

Когда ему надоело браниться, он начал учить рыжего актера. Жестикую руками и лицом, читая и стуча кулаками о книжку, он потребовал, чтобы актер следовал его советам. Ему нужно было спасти Шекспира от поругания, а для Шекспира он на все готов: хоть на сто тысяч скандалов!

Беседуя с актерами, рыжий Гамлет был ужасен. Он ломался, как тот «дюжий длинноволосый молодец» — актер, о котором сам Гамлет говорит: «Такого актера я в состоянии бы высечь». Когда он начал декламировать, барон не вынес. Задыхаясь и стуча лысиной по потолку будки, он положил левую руку на грудь, а правой жестикуюровал. Старческий, надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку:

Распаленный гневом,
В крови, засохшей на его доспехах,
С огнем в очах, свирепый ищет Пирр
Отца Приама.

И, высунувшись наполовину из будки, барон кивнул головой первому актеру и прибавил уже не декламирующим, а небрежным, потухшим голосом:

— Продолжай!

Первый актер продолжал, но не тотчас. Минуту он промедлил, и минуту в театре царило глубокое молчание. Это молчание нарушил сам барон, когда, потянувшись назад, стукнулся головой о край будки. Послышался смех.

— Bravo, барабанщик! — крикнули из райка.

Думали, что прервал Гамлета не суфлер, а старый барабанщик, дремавший в оркестре. Барабанщик шутовски раскланялся с райком, и весь театр огласился смехом. Публика любит театральные недоразумения, и если бы вместо пьес давали недоразумения, она платила бы вдвое больше.

Первый актер продолжал, и тишина была мало-помалу водворена.

Чудак же барон, услышавши смех, побагровел от стыда и схватил себя за лысину, забыв, вероятно, что на ней уже нет тех волос, в которые влюблялись когда-то красивые женщины. Теперь мало того, что над ним будет смеяться весь город и все юмористические журналы, его еще выгонят из театра! Он горел от стыда, злился на себя, а между тем все члены его дрожали от восторга: он сейчас декламировал!

«Не твое дело, старая, заржавленная щеколда! — думал он. — Твое дело быть только суфлером, если не хочешь, чтобы тебе дали по шее, как последнему лакею. Но это возмутительно, однако! Рыжий мальчишка решительно не хочет играть по-человечески! Разве это место так ведется?»

И, впившись глазами в актера, барон опять начал бормотать советы. Он еще раз не вынес и еще раз заставил смеяться публику. Этот чудак был слишком нервен. Когда актер, читая последний монолог второго действия, сделал маленькую передышку, чтобы молча покачать головой, из будки опять понесся голос, полный желчи, презрения, ненависти, но, увы! уже разбитый временем и бессильный:

Кровавый сластолюбец! Лищемер!
Бесчувственный, продажный, подлый изверг!

Помолчав секунд десять, барон глубоко вздохнул и прибавил уже не так громко:

Глупец, глупец! Куда как я отважен!

Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета, если бы на земле не было старости. Многое портит и многому мешает старость.

Бедный барон! Впрочем, не он первый, не он и последний.

Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима.

МЕСТЬ

Был день бенефиса нашей ingénue¹.

В десятом часу утра у ее двери стоял комик. Он прислушивался и стучал по обеим половинкам двери своими большими кулаками. Ему необходимо было видеть ingénue. Она должна была вылезть из-под своего одеяла во что бы то ни стало, как бы ей ни хотелось спать...

— Отворите же, черт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?

В четверть одиннадцатого комик услышал глубокий вздох. За вздохом последовал скачок с кровати, а за скачком шлепанье туфель.

— Что вам угодно? Кто вы?

— Это я...

Комику не нужно было называть себя. Его легко можно было узнать по голосу, шипящему и дребезжащему, как у больного дифтеритом.

— Подождите, я оденусь...

Через три минуты его впустили. Он вошел, поцеловал у ingénue руку и сел на кровать.

— Я к вам по делу, — начал он, закуривая сигару. — Я хожу к людям только по делу, ходить же в гости я предоставляю господам бездельникам. Но к делу... Сегодня я играю в вашей пьесе графа... Вы, конечно, это знаете?

— Да.

— Старого графа. Во втором действии я появляюсь на сцену в халате. Вы, надеюсь, и это знаете... Знаете?

— Да.

— Отлично. Если я буду не в халате, то я согрешу против истины. На сцене же, как и везде, прежде всего — истина! Впрочем, mademoiselle, к чему я говорю это? Ведь, в сущности говоря, человек и создан для того только, чтобы стремиться к истине...

— Да, это правда...

— Итак, после всего сказанного вы видите, что халат мне не-

¹ Инженю (*франц.*).

обходим. Но у меня нет халата, приличного графу. Если я покажусь публике в своем ситцевом халате, то вы много потеряете. На вашем бенефисе будет лежать пятно.

— Я вам могу помочь?

— Да. После *вашего* у вас остался прекрасный голубой халат с бархатым воротником и красными кистями. Прекрасный, чудный халат!

Наша *ingénue* вспыхнула... Глазки ее покраснели, замигали и заискрились, как стеклянные бусы, вынесенные на солнце.

— Вы мне одолжите этот халат на сегодняшний спектакль...

Ingénue заходила по комнате. Нечесанные волосы ее попадали беспорядочно на лицо и плечи... Она зашевелила губами и пальцами...

— Нет, не могу! — сказала она...

— Это странно... Гм... Можно узнать почему?

— Почему? Ах, боже мой, да ведь это так понятно! Могу ли я? Нет!.. нет! Никогда! *Он* нехорошо поступил со мной, он неправ... Это правда! Он поступил со мной, как последний негодяй... Я согласна с этим! Он бросил меня только потому, что я получаю мало жалованья и не умею обирать мужчин! Он хотел, чтобы я брала у этих господ деньги и носила эти подлые деньги к нему, — он хотел этого! Подло, гадко! На подобные притязания способны одни только бессовестные пошляки!

Ingénue повалилась в кресло, на котором лежала свежесглаженная сорочка, и закрыла руками лицо. Сквозь ее маленькие пальчики комик увидел блестящие точки: то окно отражалось в слезинках...

— Он ограбил меня! — продолжала она всхлипывая. — Грабь, если хочешь, но зачем же бросать? Зачем? Что я ему сделала? Что я тебе сделала? Что?

Комик встал и подошел к ней.

— Не будем плакать, — сказал он. — Слезы есть малодушие. И к тому же мы можем найти утешение во всякую минуту... Утешитесь!.. Искусство — самый радикальный утешитель!

Но ничего не поделал радикальный утешитель.

За всхлипыванием последовала истерика.

— Это пройдет! — сказал комик. — Я подожду.

Он в ожидании, пока она придет в себя, походил по комнате, зевнул и лег на кровать. Ее постель женская, но она не так мягка, как те постели, на которых спят *ingénue* порядочных театров. Комика заколола в бок какая-то пружина, и его лысину зачесали перья, кончики которых робко выглядывали из подушки, сквозь розовую наволочку. Края кровати были холодны, как лед. Но все это не мешало нахалу сладко потянуться. Черт возьми, от этих бабьих кроватей так хорошо пахнет!

Он лежал и потягивался, а плечи *ingénue* прыгали, из груди ее

вылетали отрывистые стоны, пальцы корчились и рвали на груди фланелевую кофточку.. Комик напомнил ей самую несчастную страницу одного из несчастнейших романов! Истерика продолжалась минут десять. Очнувшись, ingénue откинула назад волосы, обвела комнату глазами и продолжала говорить.

Когда дама говорит с вами, неловко лежать на кровати. Вежливость прежде всего. Комик крикнул, поднялся и сел.

— Он поступил со мной нечестно, — продолжала она, — но из этого не следует, что я должна отдавать вам халат. Несмотря на его подлый поступок, я еще продолжаю любить его, и халат единственная вещь, оставшаяся у меня после него! Когда я вижу халат, я думаю о нем и... плачу..

— Я ничего не имею против этих похвальных чувств, — сказал комик, — напротив, в наш реальный, чертовски практический век приятно встретить человека с таким сердцем и с такой душой. Если вы дадите мне на один вечер халат, то вы принесете жертву, согласен... Но, подумайте, как приятно жертвовать для искусства!

И, подумав немного, комик вздохнул и прибавил:

— Тем более, что я вам завтра же возвращу его..

— Ни за что!

— Но почему же? Ведь я же не съем его, возвращу! Какая вы, право..

— Нет, нет! Ни за что!

Ingénue забегала по комнате и замахала руками.

— Ни за что! Вы хотите лишить меня единственной дорогой для меня вещи! Я скорей умру, но не отдам! Я еще люблю этого человека!

— Вполне понимаю, но не постигаю только одного, сударыня: как можете вы менять халат на искусство?.. Вы — артистка!

— Ни за что! И не говорите!

Комик покраснел и поцарапал себя по лысине. Он помолчал немного и спросил:

— Не дадите?

— Ни за что!

— Гм... Тэксс... Это по-товарищески... Так поступают только товарищи!

Комик вздохнул и продолжал:

— Жалко, черт возьми! Очень жаль, что мы товарищи только на словах, а не на деле. Впрочем, несогласие слова с делом очень характерно для нашего времени. Взгляните, например, на литературу! Очень жаль! В частности же нас, артистов, губит отсутствие солидарности, истинного товарищества... Ах, как нас губит это! Впрочем, нет! Это только показывает, что мы не артисты, не художники! Мы лакеи, а не артисты! Сцена дана нам только для то-

го, чтобы показывать публике свои голые локти и плечи... чтобы глазки делать... щекотать инстинкты райка... Не дадите?

— Ни за какие деньги!

— Это последнее слово?

— Да...

— Прелестно...

Комик надел шапку, церемонно раскланялся и вышел из комнаты ingénue. Красный как рак, дрожащий от гнева, шипящий ругательствами, пошел он по улице, прямо к театру. Он шел и стучал палкой по мерзлой мостовой. С каким наслаждением нанизал бы он своих подлых товарищей на эту сучковатую палку! Еще лучше, если бы он мог проколоть этой артистической палкой насквозь всю землю! Будь он астрономом, он сумел бы доказать, что это худшая из планет!

Театр стоит на конце улицы, в трехстах шагах от острога. Он выкрашен в краску кирпичного цвета. Краска все замазала, кроме зияющих щелей, показывающих, что театр деревянный. Когда-то театр был амбаром, в котором складывались кули с мукой. Амбар был произведен в театры не за какие-либо заслуги, а за то, что он самый высокий сарай в городе.

Комик пошел в кассу. Там, за грязным липовым столом, сидел его друг и приятель, кассир Штамм, немец, выдававший себя за англичанина. Кассир подслеповат, глуп и глух, но все это, однако, не мешает ему с должным вниманием выслушивать своих товарищей.

Комик вошел в кассу, нахмурил брови и остановился перед кассиром в позе боксера, скрестившего на груди руки. Он помолчал немного, покачал головой и воскликнул:

— Как прикажете назвать этих людей, мистер Штамм?!

Комик стукнул кулаком по столу и, негодуя, опустился на деревянную скамью. Не поток, а океан ядовитых, отчаянных, бешеных слов полился из его рта, окруженного давно уже не бритым пространством. Пусть посочувствует ему хоть кассир! Девчонка, сентиментальная кислятина, не уважила просьбы того, без которого рухнул бы этот дрянный сарай! Не сделать одолжения (не говорю уж, оказать услугу) первому комику, которого десять лет тому назад приглашали в столичный театр! Возмутительно!

Но, однако, в этом бедняжке-театре более чем холодно. В собачьей конуре не холодней. Старый кассир умно делает, что сидит в шубе и валяных калошах. На окне — лед, а по полу гуляет ветер, которому позавидовал бы даже Северный полюс. Дверь плохо притворяется, и края ее белы от инея. Черт знает что! И сердиться даже холодно.

— Она будет меня помнить! — закончил свою филиппику комик.

Он положил свои ноги на скамью и прикрыл их полкой своей шубы, оставшейся ему в наследство двенадцать лет тому назад от

одного приятеля-актера, умершего от чахотки. Он плотнее завернулся в шубу, умолк и начал дышать в шубу себе на грудь.

Язык молчал, но зато действовали мозги. Эти мозги искали соба. Нужно же отомстить этой дерзкой, неуважительной девчонке!

Комик не завернул глаз в шубу, а пустил их на волю: гляди, коли хочешь... Они же, кстати, и не мерзнут.

В кассе нет ничего интересного для глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на скамье — старый кассир в собачьей шубе и валенках. Все серо, обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не початая книга билетов. Покупатели не идут. Они начнут ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи бумаг в углу — больше ничего нет. Ужасная бедность и ужасная скука!

Впрочем, виноват: в кассе есть один предмет роскоши. Этот предмет валяется под столом вместе с ненужной бумагой, которую не выметают вон только потому, что холодно. Да и веник куда-то запропал.

Под столом валяется большой картонный лист, запыленный и оборванный. Кассир топчет его своими валенками и плюет на него без всякой церемонии. Этот-то лист и есть предмет роскоши. На нем крупными буквами написано: *«На сегодняшний спектакль все билеты распроданы»*. Ему за все время своего существования ни разу еще не приходилось висеть над окошком кассы, и никто из публики не может похвастать тем, что видел его. Хороший, но ехидный лист! Жаль, что он не находит себе употребления. Публика не любит его, но зато в него влюблены все артисты!

Глаза комика, гулявшие по стенам и по полу, не могли не натолкнуться на эту драгоценность. Комик не мастер соображать, но на этот раз он сообразил. Увидев картонный лист, он ударил себя по лбу и воскликнул:

— Идея! Прелестно!

Он нагнулся и потянул к себе повесть о распроданных билетах.

— Прекрасно! Бесподобно! Это обойдется ей дороже голубого халата с красными кистями!

Через десять минут картонный лист первый и последний раз за все время своего существования висел над окошечком и... лгал.

Он лгал, но ему поверили. Вечером наша ingénue лежала у себя в номере и рыдала на всю гостиницу.

— Меня не любит публика! — говорила она.

Один только ветер взял на себя труд посочувствовать ей. Он, этот добрый ветер, плакал в трубе и в вентиляциях, плакал на разные голоса и, вероятно, искренно. Вечером же в портерной сидел комик и пил пиво. Пил пиво и — больше ничего¹.

¹ Рассказ «Жены артистов», вошедший в «Сказки Мельпомены», читайте на стр. 32. первоначально был включен в неизданный сборник «Шалость».

ТРАГИК

Был бенефис трагика Феногенова.

Давали «Князя Серебряного». Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов — Дружину Морозова, г-жа Беобахтова — Елену... Спектакль вышел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали... Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорецкого, Маша. Она сидела в первом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, глазки были полны слез, лицо становилось все бледней и бледней. И не мудрено: она была в театре первый раз в жизни!

— Как хорошо они представляют! Как отлично! — обращалась она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. — Как хорош Феногенов!

И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и от обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начинал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала глаза.

— Папа! — обратилась она к отцу в последнем антракте. — Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы приходили к нам завтра обедать!

Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:

— Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью!

И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе на обед.

— Все приходите, кроме женского пола, — шепнул он. — Актрис не надо, потому что у меня дочка.

На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, трагик Феногенов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел не скучно. Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных кушцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный малоросс (в паспорте он назывался Кныш) с черными глазами и нахмурен-

ным лбом, продекламировал «У парадного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором генералом Канючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жжеными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей!

Вечером исправник и Маша опять были в театре. Через неделю артисты опять обедали у начальства и с этого раза стали почти каждый день приходить в дом исправника, то обедать, то ужинать, и Маша еще сильнее привязалась к театру и стала бывать в нем ежедневно.

Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом.

— Ты ему мотивы, мотивы ты ему! — говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. — Почтения ему подпусти... Они, чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этакого... чтоб прослезился...

Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, «за глупого, праздничатающегося хохла, не имеющего определенных занятий».

И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу:

«Папа, он бьет меня! Прости нас!»

Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков! Он помнил, как за четыре дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труппой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа советовала ему «рисковать», а Лимонадов убеждал со слезами на глазах:

— Глупо и нерационально отказываться от такого случая! Да ведь за такие деньги не то что жениться, в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. Не я уж тогда владыка, а ты владыка.

Феногенов помнил об этом и теперь бормотал, сжимая кулаки:

— Если он не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, черт меня раздери!

Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах.

— Я оскорблен вашим отцом! — сказал ей трагик. — Между нами все кончено!

А она, несмотря на то, что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянула с мольбой руки.

— Я люблю вас! — просила она. — Не гоните меня, Кондратий Иванович! Я не могу жить без вас!

Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли ее в труппу на амплуа «сплошной графини», — так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей... Сначала Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа Беобахтова, цвет лимонадовской труппы, бежала, то ее сделали *ingénue*. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась.

Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Феногенов был очень недоволен.

— Разве это актриса? — говорил он. — Ни фигуры, ни манер, а так только... одна глупость...

В одном губернском городе труппа Лимонадова давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал Франца, Маша — Амалию. Трагик кричал и трясся, Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Все шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась... Она точно застыла.

— Пожалейте меня! — прошептала она ему на ухо. — О, пожалейте меня! Я так несчастна!

— Роли не знаешь! Суфлера слушай! — прошипел трагик и сунул ей в руки шпагу.

После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели в кассе и вели беседу.

— Жена твоя ролей не учит, это ты правильно... — говорил антрепренер. — Функции своей не знает... У всякого человека есть своя функция... Так вот она ее-то не знает...

Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился...

На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и пи-сала:

«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»

Из сборника
«Пестрые рассказы»





ТЕМНОЮ НОЧЬЮ

Ни луны, ни звезд... Ни контуров, ни силуэтов, ни одной мало-мальски светлой точки... Все утонуло в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи... Дождь жарит, как из ведра... Грязь страшная...

По проселочной дороге плетется пара почтовых кляч. В таратайке сидит мужчина в шинели инженера-путейца. Рядом с ним его жена. Оба промокли. Ямщик пьян как стелька. Коренной хромает, фыркает, вздрагивает и плетется еле-еле... Пугливая пристяжная то и дело спотыкается, останавливается и бросается в сторону. Дорога ужасная... Что ни шаг, то колдобина, бугор, размытый мостик. Налево воет волк; направо, говорят, овраг.

— Не сбились ли мы с дороги? — вздыхает инженерша. — Ужасная дорога! Не выворотите нас!

— Зачем выворачивать? Ээ... т! Какая мне надомность вас выворачивать? Эх, по... подлая! Дрожи! Ми... лая!

— Мы, кажется, сбились с дороги, — говорит инженер. — Куда ты везешь, дьявол? Не видишь, что ли? Разве это дорога?

— Стало быть, дорога!..

— Грунт не тот, пьяная морда! Сворачивай! Поворачивай вправо! Ну, погоняй! Где кнут?

— По... потерял, ваше высоко...

— Убью, коли что... Помни! Погоняй, подлец! Стой, куда едешь? Разве там дорога?

Лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает вожжи и тянет за правую. Коренной шлепает по грязи, круто поворачивает и вдруг, ни с того ни с сего, начинает как-то странно барахтаться... Ямщик сваливается и исчезает, пристяжная цепляется за какой-то утес, и инженер чувствует, что таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к черту...

.....
 Овраг не глубокий. Инженер поднимается, берет в охапку жену и выкарабкивается наверх. Наверху, на краю оврага, сидит ямщик и стонет. Путеец подсакивает к нему и, подняв вверх кулаки, готов растерзать, уничтожить, раздавить...

— Убью, рразбойник! — кричит он.

Кулак размахнулся и уже на половине дороги к ямщицкой фиши... Еще секунда и...

— Миша, вспомни Кукуевку! — говорит жена.

Миша вздрагивает и его грозный кулак останавливается на полпути. Ямщик спасен.

НА ГВОЗДЕ

По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков.

— Да и пожрем же мы сейчас, братцы! — мечтал вслух именинник. — Страсть как пожрем! Женка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк есть... воронцовская... Жена, небось, заждалась!

Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся.

— Чувствуете? — спросил Стручков и захихикал от удовольствия. — Раздевайтесь, господа! Кладите шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил! Акулина, поди помоги господам раздеться!

— А это что такое? — спросил один из компании, указывая на стену.

На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и поблдедели.

— Это его фуражка! — прошептали они. — Он... здесь!?

— Да, он здесь, — пробормотал Стручков. — У Кати... Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет.

Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру.

— Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! — слиберальничал помощник архиварнуса. — Черти его принесли! Он скоро уйдет?

— Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килечкой закусим... Потом по-

вторим, братцы... После второй сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет... Моя женка хорошо пироги делает. Щи будут...

— А сардин купил?

— Две коробки. Колбаса четырех сортов... Жене, должно быть, тоже есть хочется... Ввалился, черт!

Часа полтора посидели в трактире, вышли для блезиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи.

— Опять неблагополучно, братцы!

— Что такое?

Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка.

— Это Прокатилова шапка, — сказал Стручков. — Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь... Этот недолго сидит...

— И у эдакого сквернавца такая хорошенькая жена! — послышался сильный бас из гостиной.

— Дуракам счастье, ваше превосходительство! — аккомпанировал женский голос.

— Выйдемте! — простонал Стручков.

Пошли опять в трактир. Потребовали пива.

— Прокатилов — сила! — начала компания утешать Стручкова. — Час у твоей посидит, да зато тебе... десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо.

— Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!

Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться.

Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был сух, щи теплы, гусь пережарен — все перепортила карьера Стручкова! Ели, впрочем, с аппетитом.

РАЗМАЗНЯ

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-с... Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц...

— По сорока...

— Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца...

— Два месяца и пять дней...

— Ровно два месяца... У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей... Вычтешь девять воскресений... вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только... да три праздника...

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!..

— Три праздника... Долой, следовательно, двенадцать рублей... Четыре дня Коля был болен и не было занятий... Вы занимались с одной только Варей... Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда... Двенадцать и семь — двенадцать. Вычтешь... останется... гм... сорок один рубль... Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни слова!..

— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит дороже, она фамильная, но... бог с вами! Где наше не пропало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе стурточок... Долой десять... Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки.

Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого января вы взяли у меня десять рублей...

— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.

— Но у меня записано!

— Ну, пусть... хорошо.

— Из сорока одного вычтешь двадцать семь — останется четырнадцать...

Оба глаза наполнились слезами... На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля... Больше не брала...

— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и один... Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.

— Мерсі, — прошептала она.

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.

— За что же мерсі? — спросил я.

— За деньги...

— Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же merci?

— В других местах мне и вовсе не давали...

— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»

Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

ПАТРИОТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА

Маленький немецкий городок. Имя этого городка носит одна из известнейших целебных вод. В нем больше отелей, чем домов, и больше иностранцев, чем немцев.

Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид вы можете найти в отеле, стоящем на краю (левом) города, на высокой горе, в тени прелестнейшего садика.

В один прекрасный вечер на террасе этого отеля, за белым мраморным столиком, сидело двое русских. Они пили пиво и играли в шашки. Оба старательно лезли «в дамки» и беседовали об успехах лечения. Оба приехали сюда лечиться от большого живота и ожирения печени.

Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая луна... Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды и вдувал в уши русских толстячков чуднейшие звуки. У подножия горы играла музыка. Немцы праздновали годовщину какого-то немецкого события. Мотивы не доносились до вершины горы — далеко! Доносилась одна только мелодия... Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая, плакучая, тягучая... Слушаешь ее — и сладко нить хочется...

Русские лезли «в дамки» и задумчиво внимали. Оба были в блаженнейшем настроении духа. Шепот лиц, кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией — все это, вместе взятое, развезло их русские души.

— При такой обстановке, Тарас Иваныч, хорошо тово... любить, — сказал один из них. — Влюбиться в какую-нибудь да по темной аллейке пройтись...

— М-да...

И наши русские завели речь о любви, о дружбе... Сладкие мгновения! Кончилось тем, что оба незаметно, бессознательно

оставили в покое шапки, подперли свои русские головы кулаками и задумались.

Мелодия становилась все слышнее и слышнее. Скоро она уступила свое место мотиву. Стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки.

Русские поглядели вниз и увидели факельную процессию. Процессия двигалась вверх. Скоро сквозь липы блеснули красные огни факелов, послышалось стройное пение, и музыка загремела над самыми ушами русских. Молодые девушки, женщины, солдаты, бурши, старцы в мгновение наполнили длинную стройную аллею, осветили весь сад и страшно загалдели... Сзади несли бочонки с пивом и вином. Сыпали цветы и жгли разноцветные бенгальские огни.

Русские умилились духом. И им захотелось участвовать в процессии. Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на средину какой-то старичок и сказал что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурш взобрался на стол и произнес трескучую речь. За ним — другой, третий, четвертый... Говорили, взвизгивали, махали руками...

Петр Фомич умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочется говорить. Речь разительна. Петр Фомич протискался сквозь толпу и остановился около стола. Помахав руками, он взобрался на стол. Еще раз помахал руками. Лицо его побагровело. Он покачулся и закричал коснеющим, пьяным языком: «Ребята! Не... немцев бить!»

Счастье его, что немцы не понимают по-русски!

СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Дело происходило в N...ском окружном суде, в одну из последних его сессий.

На скамье подсудимых заседал N...ский мещанин Сидор Шельменцов, малый лет тридцати, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее незаконие осложнилось еще присвоением не принадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя сему товарищу — легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидный гонорарий, он за собой ведать не ведает: подобен себе подобным. Говорит в нос, буквы «к» не выговаривает, ежеминутно сморкается.

Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его цитируются, фамилия его произносится с благоговением...

В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием ге-

роя и аплодисментами публики, он играет немалую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молнии и других не менее внушительных стихий.

Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения; когда он уяснил, убедил и сказал: «Я кончил», — поднялся защитник. Все навострили уши. Воцарилась тишина. Адвокат заговорил и... пошли плясать нервы N...ской публики! Он вытянул свою смугловатую шею, склонил набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке... После первых же двух-трех фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из залы заседания какую-то бледную даму. Через три минуты председатель принужден был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе посматривать на увлеченную публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз, они вытянулись... А что делалось с сердцами?!

— Мы — люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески! — сказал между прочим защитник. — Прежде чем предстать пред вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В продолжение шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, глаза детей не высохали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны... Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца! Их здесь нет, но вы можете себе их представить. (Пауза.) Заключение... Гм... Его посадили рядом с ворами и убийцами... Его! (Пауза.) Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы... Да что говорить?!

В публике послышались всхлипывания... Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка.

Защитник говорил и говорил... Факты он миновал, а напирал больше на психологию.

— Знать его душу — значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир... Изучая его, я, признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека... Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека...

Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух дам. Председатель

оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, навернувшейся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственный из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол... Слезы засверкали сквозь его очки.

«Было б мне отказаться от обвинения! — подумал он. — Ведь такое фиаско потерпеть! А?»

— Взгляните на его глаза! — продолжал защитник (подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа). Неужели эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О, нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!

Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался...

— Виноват! — заговорил он, перебивая защитника. — Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать... Каюсь! Во всем виноват!

И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.

ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Купе первого класса.

На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, рипсе-пез то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована... Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» — из великосветской жизни... Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает... Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.

— О, я постигаю вас! — говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. — Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта... Да! Борьба страшная, чудовищная, но... не унывайте! Вы будете победительницей! Да!

— Опишите меня, Вольдемар! — говорит дамочка, грустно улыбаясь. — Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра... Но главное — я несчастна! Я страдалица во вкусе Достоевского...

Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы — психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

— Говорите! Умоляю вас, говорите!

— Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но... дух времени и среды... *vous comprenez?*¹, я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты... брал взятки... Мать же... Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества... Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь... Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь... А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете... К несчастью, я наделена широкой натурой... Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком — в этом я видела свое счастье!

— Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около браслета. — Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.

— О, Вольдемар! Мне нужна была слава... шум, блеск, как для всякой — к чему скромничать? — недюжинной природы. Я жаждала чего-то необыкновенного... не женского! И вот... И вот... под вернулся на моем пути богатый старик-генерал... Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро... А как я страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты... ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива... А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.

— Но вот старик умер... Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо... Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но... нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдать любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой... отдохнуть... Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит пре-

¹ Вы понимаете (*франц.*).

пятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

— Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?

— Другой богатый старик...

Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки...

ВЕРБА

Кто ездил по почтовому тракту между Б. и Т.?

Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая, в два постава... Ей больше ста лет, давно уже она не была в работе, и не мудрено поэтому, что она напоминает собой маленькую, сгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облакачивалась о старую, широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящаяся листва спускается на крышу, на плотину; нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Вsunьте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и жалят. Сколько ей лет? Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще и тогда, когда он служил у барина во «французах», а потом у барыни в «неграх»; а это было слишком давно.

Верба подпирает и другую развалину — старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут... Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их...

Лет тридцать тому назад, в Вербное воскресенье, в день именин старухи-вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил... Кругом было тихо, как всегда... Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полдня. В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала Т-я почта.

И в это воскресенье Архипу слышались звонки. Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не

удивлялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взмахнул кистенем. Почтальон не пошевелился. На его белокурой голове зазяло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги: с берега спускался ямщик и шел прямо на него... Его загоревшее лицо было бледно, глаза тупо глядели бог знает куда. Трясаясь всем телом, он подбежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дуло почтовую сумку; потом побежал вверх, вскочил на телегу и, странно показалось Архипу, нанес себе по виску удар. Окровавив себе лицо, он ударил по лошадям.

— Караул! Режут! — закричал он.

Ему вторило эхо, и долго Архип слышал это «караул».

Дней через шесть на мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то глубину реки и, пообедав под вербой, уехали, а Архип во все время следствия сидел под колесом, дрожал и глядел в сумку. Там видел он конверты с пятью печатями. День и ночь глядел он на эти печати и думал, а старуха-верба днем молчала, а ночью плакала. «Дура!» — думал Архип, прислушиваясь к ее плачу. Через неделю Архип шел уже сумкой в город.

— Где здесь присутственное место? — спросил он, войдя за заставу.

Ему указали на большой желтый дом с полосатой будкой у двери. Он вошел и в передней увидел барина со светлыми пуговицами. Барин курил трубку и бранил за что-то сторожа. Архип подошел к нему и, дрожа всем телом, рассказал про эпизод со старухой-вербой. Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки, побледнел, покраснел.

— Сейчас! — сказал он и побежал в присутствие. Там окружили его чиновники... Забегали, засуетились, зашептали... Через десять минут чиновник вынес Архипу сумку и сказал:

— Ты не туда, братец, пришел. Ты иди на Нижнюю улицу, там тебе укажут, а здесь казначейство, милый мой! Ты иди в полицию.

Архип взял сумку и вышел.

«А сумка полегче стала! — подумал он. — Наполовину меньше стала!»

На Нижней улице ему указали на другой желтый дом, с двумя будками. Архип вошел. Передней тут не было, и присутствие начиналось прямо с лестницы. Старик подошел к одному из столов и рассказал писцам историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, покричали на него и послали за старшим. Явился толстый усач. После короткого допроса он взял сумку и заперся с ней в другой комнате.

— А деньги же где? — слышалось через минуту из этой комнаты. — Сумка пуста! Скажите, впрочем, старику, что он может идти! Или задержать его! Отведите его к Ивану Марковичу! Нет, впрочем, пусть идет!

Архип поклонился и вышел. Через день караси и окуни опять уже видели его седую бороду...

Дело было глубокою осенью. Старик сидел и удил. Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба: он не любил осени. Лицо его стало еще мрачней, когда он увидел возле себя ямщика. Ямщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду.

— Где она? — спрашивал он Архипа.

Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцы, но скоро сжался над ним.

— Я к начальству снес! — сказал он. — Но ты, дурень, не бойся... Я сказал там, что под вербой нашел...

Ямщик вскочил, взревел и набросился на Архипа. Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на землю, топтал ногами. Побивши старика, он не ушел от него, а остался жить при мельнице, вместе с Архипом.

Днем он спал и молчал, а ночью ходил по плотине. По плотине гуляла тень почтальона, и он беседовал с ней. Наступила весна, а ямщик продолжал еще молчать и гулять. Однажды ночью подошел к нему старик.

— Будет тебе, дурень, слоняться! — сказал он ему, искоса поглядывая на почтальона. — Уходи.

И почтальон то же самое сказал... И верба прошептала то же...

— Не могу! — сказал ямщик. — Пошел бы, да ноги болят, душа болит!

Старик взял под руку ямщика и повел его в город. Он повел его на Нижнюю улицу, в то самое присутствие, куда отдал сумку. Ямщик упал перед «старшим» на колени и покаялся. Усач удивился.

— Чего на себя клепаешь, дурак! — сказал он. — Пьян? Хочешь, чтоб я тебя в холодную засадил? Перебесились все, мерзавцы! Только путают дело... Преступник не найден — ну, и шабаш! Что ж тебе еще нужно? Убирайся!

Когда старик напомнил про сумку, усач захохотал, а писцы удивились. Память, видно, у них плоха... Не нашел ямщик искупления на Нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе...

И пришлось бежать от совести в воду, возмутить то именно место, где плавают поплавки Архипа. Утопился ямщик. На плотине видят теперь старик и старуха-верба две тени... Не с ними ли они шепчутся?

Вор

Пробило двенадцать. Федор Степаныч накинул на себя шубу и вышел на двор. Его охватило сыростью ночи... Дул сырой, холодный ветер, с темного неба моросил мелкий дождь. Федор Степаныч перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице. А улица широкая, что твоя площадь; редки в Европейской России такие улицы. Ни освещения, ни тротуаров... даже намеков нет на эту роскошь.

У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Федора Степаныча шлепали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой и сторбленной, он узнал здешнего доктора, единственного на весь уезд «образованного человека». Старик-доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз старик был в форменной старомодной треуголке, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубенки болталась шишага. Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке.

— Христос воскрес, Гурий Иваныч! — остановил доктора Федор Степаныч.

Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед *ссылным* петличкой, в которой болтался «Станислав».

— А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробраться, — сказал Федор Степаныч. — Вы уж позвольте мне у вас разговеться... Прошу вас... Я, бывало, *там* в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет...

— Едва ли это будет удобно... — сконфузился доктор. — У меня семейство, знаете ли... жена... Вы хотя и тово... но все-таки не тово... Все-таки предубеждение! Я, впрочем, ничего... Кгм... Капель...

— А Барабаев? — проговорил Федор Степаныч, кривя рот и желчно ухмыляясь. — Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что!..

Федор Степаныч остановился и прислонился к мокрому забору: пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению.

«Крестный ход, — подумал *ссылный*. — Как и *там*, у нас...»

От огоньков несся звон. Колокола-тенора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь.

«Первая Пасха здесь, в этом холоде, — подумал Федор Степаныч, — и... не последняя. Скверно! А *там* теперь, небось...»

И он задумался о «там»... Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень; там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет дыхание весны... Небо там темное, но звездное, с белой полосой на востоке... Вмesto этого грязного забора зеленый палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, теплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками...

«Хорошо бы теперь хватить тамошной водки! Здесь дрянная водка, пить нельзя...»

Наутро глубокий, хороший сон, за сном визиты, выпивка... Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузьмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до болезни, как и всякой моднице! Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать...

— А если меня в Сибирь сошлют? — спросил он ее. — Пойдешь со мной?

— Разумеется! Хоть на край света!

Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля смалодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега.

«На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула даже... Смеялась, когда защитник острил... Убить мало...»

И эти воспоминания сильно утомили Федора Степаныча. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь, к родной заутрене... Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель.

Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у нее подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой...

«Спать не дает! — подумал Федор Степаныч. — Че-ерт...»

Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Ссылный лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах.

— Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще доставало!

Федор Степаныч вскочил, рванул с остервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала.

Но минут через десять она, показалось ссыльному, вышла из угла на середину комнаты и завертела носом в глиняном полу... Нос, как буравчик... Вертела, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и ссыльному показалось, что он лежит на полу и что

по его вискам хлопают крылья... Нос, наконец, поломался, и все ушло в перья... Ссылный забылся...

— Ты за што это тварь убил, душегубец? — услышал он под утро.

Федор Степаныч раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина-раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами.

— За што ты, окаянный, убил мою пташку? Певунью-то мою за што ты убил, сатана чертова? А? Кого это ты? За што такое? Глаза твои бесстыжие, пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Сею минутою уходи! Сичас!

Федор Степаныч надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное... Глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить...

— Бон-жур! С праздником, мон-шер! — услышал ссыльный, выйдя за ворота.

Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком.

«Визиты делает! — подумал Федор Степаныч. — И тут, скотина, сумел примазаться... Знакомых имеет... Было б и мне побольше украть!»

Подходя к церкви, Федор Степаныч услышал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов выглядывала женская головка.

— Где здесь... Батюшки, Федор Степаныч! Вы ли это? — запищала головка.

Ссылный подбежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку...

— Неужели я не сплю?! Что такое? Ко мне?! Надумала, Оля?

— Где здесь Барабаев живет?

— А на что тебе Барабаев?

— Он меня выписал... Две тысячи, вообрази, прислал... По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?..

До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось солнце.

«Неужели эти звери могут жить без солнца? — думал он, месяя ногами жидкий снег. — Веселы, довольны без солнца! Впрочем, у них свой вкус».

РАЗ В ГОД

Маленький трехконный домик княжны имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигрывают с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в

изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожашие руки целое утро, свежечыщенные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают в себе солнце. Марк выполз из своей каморки недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. В передней пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано. Повешены гардины, снята кисея с картин, навошены потертые, занозистые полы. Злая Жулька, кошка с котятками и цыплята заперты до вечера в кухню.

Сама княжна, хозяйка трехконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидит в большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость! Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть: барон Трамб с сыном, князь Халахадзе, камергер Бурластов, кузен генерал Битков и многие другие... человек двадцать! Они приедут и наполнят ее гостиную разговором. Князь Халахадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу... А она знает, как держать себя с этими господами! Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях... Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и Переулков: для этих господ положены в передней лист бумаги и перо. Каждый сверчок знай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут...

Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж, оставив за собой пыль. Проходят пять минут.

«Не к нам!» — думает княжна.

Да, не к вам, княжна! Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история! В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальную, нюхает нашатырный спирт и плачет.

— Никто не приехал! Никто!

Около княжны суетится старый Марк. Он не менее огорчен: испортились люди! Прежде валили в гостиную, как мухи, а теперь...

— Никто не приехал! — плачет княжна. — Ни барон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий... Оставили меня! А ведь не будь меня, что бы из них вышло? Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой — только мне. Без меня из них ничего бы не вышло.

— Не вышло бы-с! — поддакивает Марк.

— Я не прошу благодарности... Не нужна она мне! Мне нужно чувство! Боже мой, как обидно! Даже племянник Жан не приехал. Отчего он не приехал? Что я ему худого сделала? Я заплатила по всем его векселям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего че-

ловека. Дорого мне стоит этот Жан! Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу... Я истратила на него... сам знаешь...

— И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, заместо родителей были.

— И вот... вот она благодарность! О люди!

В три часа, как и в прошлом году, с княжной делается истерический припадок. Встревоженный Марк надевает свою шляпу с галунами, долго торгуется с извозчиком и едет к племяннику Жану. К счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко... Марк застаёт князя валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое мордастое лицо багрово, на лбу пот. В голове его шум, в желудке революция. Он рад бы уснуть, да нельзя: мутит. Его скупаящие глаза устремлены на рукомойник, наполненный доверху сором и мыльной водой.

Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати.

— Нехорошо-с, Иван Михалыч! — говорит он, укоризненно покачивая головой. — Нехорошо-с!

— Что нехорошо?

— Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с ангелом поздравить? Нешто это хорошо?

— Убирайся к черту! — говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды.

— Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство! Чувств у вас никаких нету! Ну с какой стати вы их огорчаете?

— Я не делаю визитов... Так и скажи ей. Этот обычай давно уже устарел... Некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай! Спать хочу...

— Спать хочу... Лицо-то небось воротите! Стыдно в глаза глядеть!

— Ну... тсс... Дрянь ты этакая! Паршак!

Продолжительное молчание.

— А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте! — говорит Марк ласково. — Оне плачут, мечутся на постельке... Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение... Съездите, батюшка!

— Не поеду. Незачем и некогда... Да и что я буду делать у старой девки?

— Съездите, ваше сиятельство! Уважьте, батюшка! Сделайте такую милость! Страсть как огорчены оне вашею, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием!

Марк проводит рукавом по глазам.

— Сделайте милость!

— Гм... А коньяк будет? — говорит Жан.

— Будет, батюшка, ваше сиятельство!

Князь подмигивает глазом.

— Ну, а сто рублей будет? — спрашивает он.

— Никак это невозможно! Самим вам неизвестно, ваше сиятельство, капиталов у нас уж нет тех, что были... Разорили нас родственники, Иван Михалыч. Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь... Божья воля!

— В прошлом году я за визит с вас... сколько взял? Двести рублей взял. А теперь и ста нет? Шутки шутишь, ворона! Поройска у старухи, найдешь... Впрочем, убирайся. Спать хочу.

— Будьте так благодушны, ваше сиятельство! Стары оне, слабы... Душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михалыч, ваше сиятельство!

Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фрак и едет к княжне...

— Ma tante¹, — говорит он, прижимаясь к ее руке.

И, севши на софу, он начинает прошлогодний разговор.

— Мари Крыскина, ma tante, получила письмо из Ниццы... Муженек-то! А? Каков? Очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одним англичанином из-за какой-то певички... забыла ее фамилию...

— Неужели?

Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долей ужаса, повторяет:

— Неужели?

— Да... На дуэлях дерется, за певичками бегаёт, а тут жена... чахни и сохни по его милости... Не понимаю таких людей, ma tante!

Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается... Подается чай с коньяком.

И в то время как счастливая княжна, слушая Жана, хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно заплатить только пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно перерыть не один сундучок!

ГЕРОЙ-БАРЫНЯ

Лидия Егоровна вышла на террасу пить утренний кофе. Время было уже близко к жаркому и душному полудню, однако это не помешало моей героине нарядиться в черное шелковое платье, застегнутое у самого подбородка и тисками сжимавшее талию. Она

¹ Тетущка (*франц.*).

знала, что этот черный цвет идет к ее золотистым кудряшкам и строгому профилю, и расставалась с ним только ночью. Когда она сделала первый глоток из своей китайской чашечки, к террасе подошел почтальон и подал ей письмо. Письмо было от мужа: «Дядя не дал ни гроша, и твое имение продано. Ничего не поделал...» Лидия Егоровна побледнела, покачнулась на стуле и продолжала читать: «Уезжаю месяца на два в Одессу по важному делу. Целую».

— Разорены! На два месяца в Одессу... — простонала Лидия Егоровна. — К своей, значит, поехал... Боже мой!

Она подкатила глаза, запаталась, ухватила рукой за перила и готова уже была упасть, как послышались внизу голоса. На террасу взбирался ее сосед по даче и кузен, отставной генерал Зазубрин, старый, как анекдот о собаке Каквасе, и хилый, как новорожденный котенок. Он ступал еле-еле, осторожно, перебирая палкой ступени, словно боясь за их прочность. За ним семенил маленький бритый старичок, отставной профессор Павел Иванович Кнопка, в большом стародавнем цилиндре с широкими приподнятыми полями. Генерал, по обыкновению, был весь в пуху и крошках, а профессор поражал белизною своих одежд и гладкостью подбородка. Оба сияли.

— А мы к вам, шарманочка! — продребезжал генерал, довольный тем, что сумел по-своему переделать слово «charmante»¹. — С добрым утром, фея! Фея пьет кофея...

Генерал сострил глупо, но Кнопка и Лидия Егоровна расхохотались. Моя героиня отдернула от перил руку, вытянулась и, бесконечно улыбаясь, протянула к гостям обе руки. Те облобызали и сели.

— Вы, кузен, вечно веселы! — начала кузина гостинный разговор. — Счастливым характер!

— Как, бишь, я сказал? Ах, да! Фея пьет кофея... Ха-ха-ха. А мы с герром профессором уж выкупались, позавтракали и визиты делаем... Беда мне с этим профессором! Жалуюсь вам, фея! Беда! Собираюсь его под суд отдать! Хе-хе-хе... Либерал! Вольтер, можно сказать!

— Что вы?! — улыбнулась Лидия Егоровна и подумала: «В Одессу на два месяца... к той...»

— Честное слово! Такие идеи проповедует... такие идеи! Совсем красный! А знаете ли вы, Павел Иванович, друг мой, кто красному рад? Знаете кто? Ххе... Ответьте-ка! Вот вам и запятая, либералам!

— Каков генерал? — захохотал Кнопка, кривя свой ученый подбородок. — И мы, ваше превосходительство, сумеем вам, консерваторам, запятую поставить: одни только быки боятся красного! Ха-ха-ха... Что, съели-с?

¹ Прелестная (*франц.*).

— Однако! Что вижу! У вас цветут олеандры! — слышался внизу террасы женский голос, и через минуту на террасу входила княгиня Дромадерова, соседка по даче. — Ах! У вас мужчины, а я такая растрепка! Извините, пожалуйста! О чем вы тут? Продолжайте, генерал, я не помешаю...

— Мы о красном-с! — продолжал Зазубрин. — А вот-с, кстати, о быках... Вы это верно, Павел Иванович, насчет быков! Раз в Грузии, где я баталионом командовал, бык увидел мою красную подкладку, испугался и полетел на меня... рогами прямо... Саблю пришлось обнажить. Честное слово! Спасибо, казак близко был и пишкой его, каналью, отогнал... Чего вы смеетесь? Не верите? Ей-богу, отогнал...

Лидия Егоровна изумилась, ахнула и подумала: «В Одессе теперь... развратник!»

Кнопка заговорил о быках и буйволах. Княгиня Дромадерова заявила, что все это скучно. Заговорили о красной подкладке...

— Касательно этой подкладки у меня в памяти случай есть, — сказал Зазубрин, обсасывая сухарик. — Был у меня в баталионе полковничек, некий Конвертов, Петр Петрович... Старичок славный такой, добром его помянуть, простачок, басенник... Из простых солдафонов в высшие чины вышел, за заслуги особенные... В боях был. Любил я его, покойника. Лет ему семьдесят было, когда его в полковники произвели, на лошадь уж не умел садиться и подагрой его ломало во все корки. Вынет, бывало, на маневрах саблю из ножен, а вложить ее уже не может, ординарец вкладывал... Расстегнется, извините, а застегнуться уж и не может... И у этого расслабленного мечта в голове была генералом быть. Стар, слаб, помирать собирается, а мечтает... натура, значит, такая... воин! И в отставку не хотел из-за генеральства... Прослужил лет пять в полковниках, представили его... И что ж вы думаете? А? Вот судьба! Трах его паралич в самый тот раз, когда производство вышло... Отняло ему, сердяге, левую щеку и правую руку, да ноги поослабли сильно... Поневоле пришлось в отставку выйти и не довелось литых погонов носить честолюбцу! Взял отставку и поехал со своей старухой в Тифлис на покой. Едет, плачет и смеется, что его ямщик превосходительством обзывает. Одна щека плачет и смеется, а другая недвижима, как монумент. Одно только утешение осталось ему: красная подкладка. Идет по Тифлису, растопыривает фалды, как крылья, и показывает публике красноту. Знай, мол, кого видишь! Целый день по городу шкандыляет и хвастает подкладкой... Только и было у него, друга, радостей. В баню пойдет и разложит пальто на лавке подкладкой вверх... Утешался, утешался как малый дите, да и ослеп от старости. Наняли ему человека по городу его водить и подкладку показывать... Идет слепенький, се-

денький, еле-еле телепкается, о воздух спотыкается, а у самого на лице гордыня написана! Зима лютая, холод, а у него пальто нараспашку... Чудачок! Скоро за тем померла у него старушка. Хоронит ее, ноет, в могилку к ней просится и подкладку духовенству показывает. Приставили к нему другую особу, вдовицу какую-то, чтоб поберегла... А вдовица, известное дело, знает свою долю лучше хозяйской. Скопидомка... Сахарку припрячет, чайку там, копеечку... Кругом его ощипала. Щипала-щипала, ерзала-ерзала подлая баба, да и дошла до апофеоза! Взяла, стервоза, да и отпорола его красную подкладку себе на кофту, а вместо красной подкладки серенькую сарпинку подшила. Идет мой Петр Петрович, выворачивает перед публикой свое пальто, а сам, слепенький, и не видит, что у него вместо генеральской подкладки сарпинка с крапушками!..

Дромадерова нашла, что все это очень скучно, и заговорила о сыне-поручике. Перед обедом явились соседки — девицы Клянчины с тапап. Они сели за рояль и запели любимую песню Забуррина. Сели обедать.

— Отличный редис! — заметил профессор. — Где вы такой покупаете?

— Он теперь в Одессе... с этой женщиной! — ответила Лидия Егоровна.

— Что-с?

— Ах... Я не о том! Не знаю, где повар берет... Что это со мной?

И Лидия Егоровна, закинув назад голову, захохотала над своей рассеянностью... После обеда пришла толстая профессорша с детьми. Сели за карты. Вечером приезжали гости из города...

Только в ночь, проводив последнего гостя и простояв неподвижно, пока не перестали слышаться его шаги, Лидия Егоровна могла ухватиться одной рукой за те же перила, покачнуться и зарыдать.

— Мало того, что прокутил! Ему мало этого! Он еще изменил!

Из глаз вырвались на свободу горячие слезы, и бледное лицо исказилось отчаянием. Уж не было нужды в этикете, и она могла рыдать!

Черт знает на что уходит иногда силища!

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на вершине блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул,

как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало мучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Брижжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, — на-

чал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

ОН ПОНЯЛ!

Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.